

ИЛЛЯ КОГАН

ЛЕСНАЯ, 27

ЭПИЗОД 2-й

ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА КАРТИНЫ

Мы стояли в коридоре. За дверью объединения «Радуга» бушевал скандал. Кто-то что-то кричал о деньгах, о семье, о ценах в магазинах. А иногда он смолкал, и тогда становилось слышно «бу-бу-бу» кого-то из редакторов.

— Что за шум? — спросил, подходя, Райтбурт.

— Боря Заходер выступает, — ответила Валентина Яковлевна. — Деньги за сценарий требует.

— А-а, «Серая звездочка»... — понимающе протянул Райтбурт. — И как это в человеке уживается? Гений и...

— Кушать-то всем хочется! — перебил его Юрий Иосифович Беренштейн.

— А кто это — Заходер? — показал я свое невежество.

Боже, как все нажились на меня!

— Как? Он не знает Бориса Заходера!

— Он не слышал: *«плачет Киска в коридоре»!*

И кто-то тут же продекламировал:

Плачет Киска в коридоре,

У нее большое горе:

Злые люди

Бедной Киске

Не дают украсть сосиски!

Галина Андреевна Ельницкая возмущенно пыхнула сигаретой.

— Да что вы, ребята! Значит, он и «Винни-Пуха» не читал!

Одна Валентина Яковлевна заступилась за меня:

— Во-первых, у него маленький ребенок. А, во-вторых, представляете, сколько удовольствия его еще ждет!

Она была права и «во-первых», и «во-вторых». Дочке было два года, бессонные ночи только что кончились. Время детских книжек еще не пришло.

Но Винни-Пух у нас с ней был впереди, И Кенга, и крошка Ру, и ослик Иа-Иа. И все, все, все, кого волшебник Борис Заходер привел в нашу жизнь, и кто сделал ее чуточку веселее и добрее.

А что до денежных скандалов, то студия сама была виновата. Не надо было затягивать расчеты с авторами. Тем более, что Заходер хлопотал не только за себя, но и за

молодых друзей, которых привел в объединение. За Валю Берестова и Эдика Успенского. Они пробовали силы, сочиняя тексты для журнала «Хочу все знать». А сам Борис Владимирович с помощью режиссера Ельницкой открывал новый жанр детского кино: фильмы-сказки с натуральными животными в их естественном окружении. О каждом из них Заходер придумывал занимательную историю. И поучительную. Скажем, «Серая звездочка» — это рассказ о пользе, которую приносят жабы, серые дурнушки с лучистыми глазами. Об их друзьях и врагах, о том, как все связано вокруг нас.

Все это я узнал только потом. А пока мы с Валентиной Яковлевной собирали группу для съемок увлекательного-увлекательного, познавательного-познавательного боевика под названием «Как гайка догоняла грузовик». Автором сценария был детский писатель Дорохов. Он сочинил историю о бедной Гайке, потерявшейся на конвейере. В поисках своего места она обшаривает все узлы собираемого автомобиля. Ее глазами мы видим, как делаются машины.

Алексей Алексеевич Дорохов был для меня человеком из другого мира. Он открыто признавался, что не нуждается в деньгах. Еще бы! В книжных магазинах его имя красовалось на всех прилавках. После Бориса Житкова он был первым, кто нашел способ просто рассказывать о самых непростых вещах. И прием-то был не очень хитрым: найти проводника, который поведет читателя по неведомым дорожкам. А потом путешествие такой Гайки можно перенести на экран. Будет фильм, будут и деньги.

Эту «светлую» мысль я имел неосторожность высказать вслух. Боже, как на меня посмотрела редактор Каспэ!

— Я думала вы умнее! — Тогда еще Нина Марковна была со мной на «вы». — Вы забыли, кем мы были при великом вожде? Винтиками машины! А Алексей Алексеевич внушает детям: не поедет грузовик даже без малой гайки!

Вот как. Мне такая глубокая мысль в голову не приходила. А Валентине Яковлевне? Спрашивать было некогда. Я же говорю: мы собирали группу. Уж не знаю, кто посоветовал режиссеру пригласить Игоря Корха. Он был из студийных немцев. Корх, Круц, Расс, Райх, Крепс — хорошие ребята, они вспоминали о своих корнях, только когда их путали с Кушниками и Бланками.

Игорь был худым и высоким, говорил доверительно и несколько замедленно. Как он снимает, нам еще предстояло узнать.

— Лишь бы он не старался перевернуть камеру! — беспокоилась Валентина Яковлевна. — Недавние вгиковцы все такие: норовят снимать с пола и вверх ногами!..

Потом к нам прибилась Галя. Мы были знакомы еще по ВГИКу. Я учился на четвертом курсе, когда она пришла на первый. Веселая и до невозможности общительная,

она каким-то образом стала свидетельницей моего ухаживания за будущей женой. И вот теперь вместе со стайкой своих однокурсниц она появилась на студии. Там были девочки («Маруся, Роза, Рая»?) — нет, Оксана, Лиля, Валя. Кого-то сразу (в отличие от меня) приняли директором картины, кто-то пошел в ассистенты режиссера. Галин папа был директором, так что она знала, почем фунт этого лиха. И выбрала другую стезю.

Первым делом мы с ней занялись разбивкой режиссерского сценария на объекты, Сортировали кадры по местам съемок. Гайка здесь... Гайка там...

— А ты знаешь, — приставал я к Гале, — что без малой гайки не поедет грузовик?

— Ой, да пусть он хоть на костылях ходит! — отмахивалась она. — Тут ходит один за мной... Не знаю, как отвязаться!

Я не буду рассказывать, как подсчитывал метраж каждого объекта, как делил его на ежедневную выработку и получал количество съемочных дней. Благодарение Саше Капулу, я это умел. Скажу только, что смета, конечно, вываливалась из всяких рамок.

— Слушай сюда! — сказал я Гале. — Я понесу смету в плановый. А ты стань у двери.

И как я три раза кашляну, беги за Валентиной Яковлевной!

— Как скажешь, Аурелио! — Галя любила цитаты из итальянских фильмов.

Я не успел уйти, потому что в объединение вошел взволнованный Райтбурт и прямо с порога заявил:

— *Девочка плачет: шарик улетел...*

— Кто? Что? — всполошились все. Я сразу вспомнил свою глуховатую бабушку Злату, которая в любой разговор встревала с вечным вопросом: «Вус? Вер?».

— Смотрите, как просто! — восторгался Семен Липович. — Всего несколько строк, а в них целая жизнь!

— *Девочка плачет: шарик улетел.*

Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.

Ее утешают, а шарик летит.

Я еще ни разу не видел его таким восторженным. Прямо глаза светились. И ключи в руке так и плясали.

— *Женщина плачет: муж ушел к другой.*

Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...

А шарик вернулся, а он голубой.

— Это же гениально!» — не мог успокоиться Райтбурт. — Восемь простых строчек, а в них целая жизнь!

— Чье это? — подал голос Виктор Миронович. За Райтбурта ответил Юра Беренштейн:

— Окуджавы! Вся Москва поет...

«Окуджавы? — подумал я. — А почему я не пою? Но раз Райтбурт говорит «гениально», может, и впрямь, гениально?».

— Галя, тебе нравится?

— Да такие стихи можно килограммами отпускать!

Галя за словом в карман не лезла. Беда только, что слов в кармане было немеряно.

«Хм... — *Девочка плачет: шарик улетел.*

Ее утешают, а шарик летит...».

В плановом отделе сидели две милые в общении, но непреклонные в работе дамы. Сара Марковна и Евгения Осиповна. На студии любили спрашивать:

— Знаешь, какая разница между Карлом Марксом и Сарой Марковной?.. Карл Маркс — экономист, а Сара Марковна — старший экономист!

Я сразу стал бить себя в грудь и вешать лапшу на уши. «Какая сложная картина!

Как трудно будет ее снимать! На заводе! Где мы никому не нужны! И еще эта Гайка! Ее же придется в каждый кадр впихивать!».

Евгения Осиповна слушала сочувственно, но ее красный карандаш гулял по моему календарному плану.

— Шлемазл! — непереводимо припечатала меня Сара Марковна. — Кто тебя научил так уменьшать выработку?

— Ал-ал-александр Маркович всегда так делал, — как можно глупее пролепетал я. Лучше бы я сказал: «Александр Македонский».

— А-а, Саша Капул! — в один голос вскричали обе. — Ты бы чему-нибудь хорошему у него научился!

Я судорожно закашлялся. И кашлял до тех пор, пока в комнату не влетела вся красная от спешки Валентина Яковлевна.

— Это я виновата! — с порога заявила она. — Не вчиталась в смету!

Дамы принялись успокаивать ее:

— Мы понимаем: картина сложная... На заводе... Мы, конечно, постараемся это учесть... Не волнуйтесь Валентина Яковлевна! Сделаем все, что можно!

Я потом не раз убеждался, что стоило вмешаться моему режиссеру, и все, чего я никак не мог добиться от студийных цехов и отделов, тут же решалось. Даже обидно бывало.

Смету, конечно, сократили, но по-божески. На всякий случай, принимая ее, я тяжело вздыхал.

— Ну, на нас тебе грех жаловаться! — осадила меня Евгения Осиповна.

— Я не на вас, я на жизнь...

— Чем тебя жизнь обидела? — спросила Сара Марковна.

— Да жена сидит без работы. Живем вдвоем на мою зарплату.

— Кто она у тебя?

— Мы вместе учились...

— Кем работала?

— Экономистом на учебной студии ВГИКа.

— Экономистом? — задумалась Сара Марковна. — Иди, гуляй! Я тут кое с кем переговорю...

Через день Таня поехала на «Мосфильм» — в лабораторию экономических исследований. И проработала там двадцать лет. До самой болезни.

— *А шарик вернулся, а он голубой.*

«Шумел, как улей, родной завод...». Не волнуйтесь, из этой непристойной песенки я помню только первую строчку. Но завод имени Лихачева действительно шумел. Грохот молотов, лязг прессов, жужжание гайковертов создавали ощущение, что голова сейчас разлетится вдребезги.

Не разлеталась только потому, что была занята гамлетовским вопросом: «Успеет или не успеет?».

Оператор Игорь ставил свет. «Чухался», как говорила Валентина Яковлевна. На это у него уходила целая жизнь. «Чуть уже!.. Чуть шире!..» — требовал он от осветителей. — «Поднимите выше по штативу!». Ребята старались, а мне все казалось, что они ползают, как сонные мухи. И оператор вместе с ними.

— Готово! — заявил, наконец, Игорь.

Валентина Яковлевна встрепелась.

— Камера! — скомандовала она.

И в эту минуту конвейер дернулся и пополз мимо.

— Пойдите! — закричал я бригадиру. — Задержите конвейер!

— Нас за задержки штрафуют! — невозмутимо отозвался он.

Ничего не поделаешь, пришлось ждать, пока на новой машине не началась нужная нам операция. Было время подумать.

Да, скажу я вам, директор картины это не администратор. Мало составить смету — надо в нее уложиться! И календарный план выдержать. А мы ведь, и правда, снимали на заводе, где никому до нас не было дела. Конвейер себе двигался, а оператор Игорь оказался не таким уж расторопным.

Часы складывались в дни, дни — в недели. В «рапортчиках», которые надо было сдавать в плановый отдел, я чуть-чуть преувеличивал дневную выработку. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть.

— Послушайте! — сказала однажды режиссер, подписывая очередную «липу». — У вас получается, что мы уже все сняли!

Ну, до «всего» было далеко. Но, по крайней мере, этот план мы сняли.

Следующий должен быть с панорамированием — надо повести камеру вслед за собираемым грузовиком. Свет ставят долго и трудно. Приходится перекидывать кабель через конвейер. Бегу искать стремянку.

Свет стоит. Рабочие ждут с нужными деталями наготове. Галя поправляет на них новенькие береты. Кадр может получиться классным.

— Стойте! — теперь уже кричит Игорь, суетливо хлопая себя по карманам. — Где ручка от штатива!

— Где чертова Сусанна?

Сусанна — практикантка из ВГИКа, прикрепленная к нам в качестве ассистента оператора. Завод для нее — кладезь всяких полезных вещей. Вот и сейчас она тащит набитую чем-то клеенчатую сумку. Судя по всему, тяжелую.

— Где ручка? — набрасывается на нее Игорь.

— Дак всякий норовит покрутить, — оправдывается Сусанна.

Уф! И этот план сняли...

В конце дня мы устало брели к проходной. Я успел проводить ребят с аппаратурой в кабинет начальника цеха, Мне разрешили оставлять ее на ночь под замком. Группа меня ждала — пропуск-то был один на всех. И тут я заметил, что за сумкой Сусанны тянется ярко-зеленый след.

— Что это? — спросил я, предчувствуя беду.

— Краска для металла, — простодушно призналась она. — Вчера же снимали покраску кабин. А у меня на даче сарай проржавел...

— Пойдешь последней! — приказал я ей.

Скандал за нашей спиной вышел нешуточный.

— Интеллигенты называется! — шумела вахтерша. — Задрипанцы! У рабочего класса воруют!

— Стыда на них нет! — вторила ей другая. — Крохоборы!

— Составить протокол — и все тут! — предлагал кто-то.

Неизвестно, чем бы все кончилось, не протекай Сусаннина сумка. Зеленое пятно под ней угрожающе росло, и хозяйки проходной, осыпая обидной бранью, выпроводили незадачливую хабалку. Она потащилась на остановку, где тотчас же вступила в пререкания с ожидающей автобуса публикой. Краска-то все лилась.

У Валентины Яковлевны мелко дрожали губы.

— Я вас прошу, — сказала она, сдерживая слезы, — чтобы завтра этой... — она проглотила слово, — с нами не было!

— Да уж как-нибудь!..

Мы пошли пешком до метро.

— Вы слушаете «голоса»? — спросила вдруг режиссер. — Что там происходит в Берлине?

— Наши начали строить стену через весь город. Немцы-то бегут на Запад... А американцы привели войска в боевую готовность. И ввели в город танки...

— О, господи! — Валентина Яковлевна тяжело вздохнула. — И надо же — именно сейчас!

Да, именно сейчас обстановка в мире накалялась. Мама моя уже успела удариться в панику: как бы не началась мобилизация. Я ее успокаивал: пехоту будут забирать в последнюю очередь. Я на эту войну не спешил.

«Но каким боком, думал я, то, что происходит в далеком Берлине, задевает моего режиссера?».

Кстати о ручках, — сказала вдруг Валентина Яковлевна и оборотилась к идущему следом оператору. — Я тут вспомнила историю про Александра и Тиссе.

Она остановилась у метро, пропуская прохожих.

Гриша Александров был вторым режиссером у Эйзенштейна. Вместе с Эдуардом Тиссе они собрались снять для «Броненосца» эпизод «Гибель «Варяга»... Тот должен был гореть и тонуть. Для этого построили макет — точную копию корабля, но во много раз меньшую. Дождались спокойного моря, «спустили» макет на воду и по-дожгли.

Гриша Александров кричит: «Снимай!». А Тиссе и в ус не дуёт. «Подождём, говорит, когда начнет разваливаться». И вот макет разваливается и тонет, а Тиссе все никак не найдет ручку от аппарата. Он ее прятал, чтобы посторонние не крутили. Стоит и хлопает себя по карманам, как сегодня некоторые. Пока он искал, горящий макет развалился и утонул. Так «Броненосец» и остался без гибели «Варяга»...

— Валентина Яковлевна, намек понял! — смущенно произнес Корх.

Как назло, лето выдалось жарким. В цехах было невыносимо душно. Валентина Яковлевна ходила вся красная. Я каждое утро просыпался с тоской, словно мне предстояло идти на каторгу. Надоело до черта. Одна Галка порхала стрекозой. И то она жаловалась, что, приходя домой, всю пропахшую заводом одежду скидывает прямо на пороге.

Вечером я складывал впечатления дня в нехитрые вирши:

*Я сижу в десятом часу
И ворчу про себя чуть слышно:
— Целый день проторчал в цеху,
Хоть бы что-то из этого вышло.
Хоть бы не был напрасен труд,
Хоть бы гайка скорей толкала,
Но не в пропасть, не в пустоту -
В темноту просмотрового зала.
Я хочу, чтобы миг настал,
И удача пусть будет с нами!
Пусть замрет от восторга зал
Или топает пусть ногами,-
Мне теперь уже все равно,
Только б съемка скорей кончалась.
Ночь стучится в мое окно,
И стучится в окно усталость.*

Две вещи помогали мне выжить. Все-таки на моих глазах рождалось чудо. Путешествие по конвейеру начинала пустая рама. На нее ставили двигатель, коробку передач, кардан, опускали кабину, прикручивали колеса. А в конце конвейера рабочий заливал в бак немного бензина, водитель вставлял ключ в замок — мотор оживал. И грузовик своим ходом выкатывался из цеха. Мне потом не раз еще пришлось поражаться

превращению мертвого металла в работающую машину. И все равно это зрелище удивляло меня, будь то сборка часов, или экскаватора, или станка с ЧПУ.

Было еще и другое: интерес к тому, как наша возня со светом, беготня вдоль конвейера, пререкания с оператором — вся дневная суета сует будет превращаться в кино. Как все это будет на экране. Я уже понимал, что каждый отдельно снятый план мало что значит. Он начнет «работать» в соединении с другими. И тогда может родиться или не родиться новый смысл, новое впечатление. Я вспоминал, как студийные корифеи допытывались у своих молодых коллег: «А вы уже видите ваш фильм?». Что они имели в виду? Что Валентина Яковлевна, и вправду, как Рене Клер, может сказать: «Кино готово, осталось только его снять»?

Видно, этот немой вопрос светился на кончике языка, потому что режиссер ни с того, ни с сего стала приглашать меня заглянуть в камеру. Вот уж что совсем не входило в обязанности директора. Я не отказывался, но в комментарии не пускался. Да у меня их и не было. Я и представить себе не мог, как Гайка будет догонять грузовик.

Но я все пристальнее приглядывался к Валентине Яковлевне. Я знал, что до нашей работы она сделала успешный фильм о каком-то инженере Новикове. Нечто вроде «Секрета НСЭ» Райтбурта. Но что она за человек?

Галка, которая все знала, немного просветила меня:

— У нее муж в Англии.

— Как!?

— Ну, не совсем муж. Они разведены, но другой семьи у него нет. Дочь Катя растет с Валентиной Яковлевной.

— Где она его взяла?

— Он был журналистом, работал в эсэсэре... А она только что кончила ВГИК.

О ВГИКе я уже знал. Как-то в минуты ожидания очередного кадра, Валентина Яковлевна спросила:

— Говорят, вы долго работали с Чуриковым?

— Почти год.

— Ну, и как он вам?

— Мрачный какой-то. Угрюмый.

Валентина Яковлевна вздохнула.

— Сколько он мне крови попортил!.. Мы же на одном курсе учились. Только я была из «бывших»: мой папа работал лоцманом в Таганроге. По тем временам — государственный чиновник!.. А Коля Чуриков пришел в институт то ли от станка, то ли от сохи. Вот он и клеймил меня, называл «чуждым элементом». Не было собрания, чтобы

он по мне не прошелся. Особенно после того, как его курсовую чуть не зарубили. Только пролетарское происхождение и спасло...

Я представил себе, каково было ей каждый день видеть на студии это смурное лицо. Не зря же кто-то называл «Моснаучфильм» «Ноевым ковчегом».

— Галя! — спросил я у нашего всезнающего ассистента. — А где она мужа-англичанина подцепила?

— Да мало ли где! Это же еще до войны было. Тогда за связь с иностранцами не сажали...

— А чего же она с ним развелась?

— Это уже после войны было. Пить он начал. Она терпела, пока он по пьяному делу с какой-то бабой не спутался. Когда протрезвел, пришел каяться. «Когда я с ней, говорит, меня к тебе тянет». «А когда со мной?». «Взял бы, да к ней ушел». «Вот и уходи!». А потом его выслали. А ту бабу посадили...

— А Валентину Яковлевну?

— Так она же с ним развелась! И они много лет ничего друг о друге не знали. Валентина даже вспоминать о нем боялась.

— Слушай! Откуда ты все это..?

— Так я же у нее в гостях была. На какой-то Мещанской... Выпили по рюмочке. Она и разговорилась. Только ты — тс-с!

— Могила! — обещал я. — Но скажи, с чего это вдруг ее беспокоит международное положение?

— Так ведь бывший муж собрался приехать! — «зататакала» Галя дальше. — Так он же все время искал свою дочь! Знаешь, какая Катя красоточка! Мне Валентина фотку показывала. Сразу видно: порода!

— Значит, нашел все-таки?

— Так Алик помог. Катин муж. Он же в АПН работает. Туда какая-то важная дама приехала. Из Англии. Для нее надо было что-то перевести. Статью какую-то. Алик взял домой, Катя и перевела. Дама разахалась: «Какой перевод хороший! Кто это сделал?». Алик объяснил: «Моя жена Катя». И фамилию назвал. Дама аж подпрыгнула: «Так ведь, говорит, я ее и ищу! Меня друг просил...».

Съемки съемками, а в моей жизни были и другие заморочки. Мы переезжали.

Нашу хибару в Кунцеве снесли. И маме с папой дали две комнаты в новой «хрущевке» за железной дорогой. До войны там был полигон, и по пути на Москву-реку приходилось проскакивать между ползающими танками. А еще оттуда запускали аэро-

статы. Вся улица задирали головы: «Летит!.. Летит!». Надо было напрычь глаза, и тогда в белесом небе проявлялся почти прозрачный шар. Он висел неподвижно, и было в нем что-то старинное и что-то до невозможности новое. Я был маленьким, и в моей голове еще не было понятия «двадцатый век». Просто этот сказочный шар навсегда связался с детством.

Мы с Таней решили жить вместе с моими. Теща у нас уже в печенках сидела. К тому же в новой квартире была ванна. Мама сказала: «Вы молодые, у вас еще все впереди» и отвела нам маленькую комнату. Правда, детскую кроватку оставила в своей, проходной. Вместе с дочкой. Ночные вставания теперь были на ней.

В чистом поле стояли три наших дома. Окна выходили на дальний лес, за который по вечерам укатывалось солнце. Красиво было. Но далеко. По утрам мы втискивались в нерезиновый автобус и трюхали до Киевского вокзала. А дальше — на метро. Ну как я мог приходить на работу вовремя.

Директор объединения сносил мои опоздания молча. Сначала я думал: из уважения к моим литературным трудам. Но все оказалось проще. Он просто уходил от нас. Во ВГИКе открылось отделение режиссуры учебного кино. Туда принимали людей с уже имеющимся высшим образованием. И назначали им стипендию в сто рублей. Вот Саша Буримский и решил податься в институт.

А новым директором «Радуги» стала Берта Михайловна Тришина. Бывшая «Аккерман». Я помнил ее еще по ВГИКу. Высокая, яркая. Баскетболистка. Все, кто работал с ней, в один голос восторгались ее обаянием, жизнерадостностью, умением собирать вокруг себя хороших людей. Она смогла очень быстро стать «душой объединения». И очень многое изменить в моей судьбе.

.

Жаркое лето кончилось как-то сразу. А вместе с ним и наши съемки на ЗИЛе. Последний кадр — шеренгу собранных грузовиков (еще без кузовов — их делали на другом заводе) мы снимали в первый осенний день. Игорь дергался возле камеры, ждал редких просветов в тучах. А Валентина Яковлевна вообще не пришла.

— Проследите, чтобы оператор лишнего не снимал! — наказала она мне накануне.

— Что ж ты не командуешь: «Камера!» — поддевал меня Корх. Но по-дружески.

Съемки на заводе кончились, но работы впереди было немеряно. Надо же было, как я говорил в плановом отделе, «впихивать» Гайку в отснятый материал. Кто-то нарисовал нам куклу. Делали ее на Спасопесковском. Там, в бывшей церкви размещался кукольный цех студии «Союзмультфильм». Было там хлопотно и весело. Начальство сидело далеко, кнут свистел только по телефону. Пахло свежей стружкой, клеем и...

пивом. Со стен улыбались, морщились, зевали куклы-«перчатки», куклы на тростях, куклы для покадровой съемки. Наша Гайка и должна была быть такой: пластичной, послушной рукам кукловода. Туловище ее напоминало сплюснутый бублик, проволочные конечности изгибались под любым углом. И головка могла крутиться на проволочной шейке.

Снимали гайку в проходном павильоне студии. Любопытные дышали за нашими спинами, следя за тем, как кукловод по миллиметру меняет положение проволочной ножки. Миллиметр — жужжание камеры: кадр снят. Еще миллиметр — жужжание: следующий кадр снят. «Это же до Маланьиной свадьбы будет!» — бурчали, расходясь, зеваки.

Зато на экране Гайка крутилась, как юла, прыгала с места на место и даже... пела! Ну да, художественный руководитель Долин, посмотрев несколько «рабочих» кусков, сказал:

— Валентина Яковлевна, вашей героине только песенки не хватает!

«Для песенки же нужны стихи!» — подумал я. И принялся за давно брошенное старое.

Потрудилась я немало,

Очень долго я искала,

Обошла я весь завод,

Обалдела от забот.

И припев:

Эй, водитель, смело в путь,

И запомни, не забудь:

Хоть размер мой не велик,

Мертв без гайки грузовик!

А что? Смысл же я передал.

— Гениально! — сказала Галя и подложила произведение на стол Нины Марковны.

«А чем черт не шутит! — думал я. — Вдруг и моя творческая капля оставит след на бессмертном полотне?».

Нина Марковна, выйдя в коридор (хорошо хоть так!), и не глядя на меня, ударила по самолюбию топором:

— Я, конечно, в поэзии не слишком... Но, по-моему, это вообще не стихи!

Вот так. Но, думаете, профессионал написал намного лучше:

И скажу вам без утайки,

Хоть размер мой невелик,

Без меня, без малой гайки,

Не поедет грузовик!

Если это Пушкин, то я Лермонтов.

Как бы там ни было, песню свою Гайка спела. И фильм мы сдали, хоть и с опозданием, но на Первую категорию. Все хорошо, что хорошо... Хорошо мы тогда посидели — у Валентины Яковлевны. Был такой обычай: отмечать окончание фильма посиделками у режиссера. Она жила в коммуналке, рядом с соседом — тихим алкоголиком. «Ничего, — сказала Валентина Яковлевна, — я ему не мешаю».

Этим вечером я узнал, что муж-англичанин купил туристическую путевку в СССР. В мире стало спокойнее, и он вот-вот должен был приехать. «Он будет жить в гостинице» — на всякий случай успокоила нас Валентина Яковлевна. И почему-то мужественно покраснела.

Он приехал весной. И Валентина Яковлевна на десять дней выпала из нашей жизни. А если и появлялась на студии, то вся какая-то нездешняя, отрешенная, далекая от пропавших кораблей.

При чем здесь пропавшие корабли? Так мы же должны были снимать сюжет для детского киножурнала. По-моему, по сценарию Райтбурта. В первый раз в жизни я рылся в книгах в поисках гравюр с изображением «Летучего голландца» и загадочной «Марии Селесты». Мороз продирал по коже от описания встреч с кораблями-призраками или с судами, по неизвестной причине покинутыми экипажами.

А по вечерам я засиживался на студии в ожидании, когда все разойдутся. Мне нужна была машинка. Как назло зарядили дожди, и даже Долин вынужден был переждать непогоду.

— Это когда-нибудь кончится? — спрашивал он, подставляя руку бьющим за окном струям.

— Брр, — вздрагивал художественный руководитель, — в фонтане Треви я бы уже не искупался...

А вы видели, Борис Генрихович? — восторженно воскликнула Нина Марковна.

— Кто же такое пропустит!

Я сначала не мог понять, о чем это они. Потом выяснилось, что наши «творцы» говорят о только что увиденном фильме. Члены Союза смотрели в Доме кино «Сладкую жизнь».

— Какой фильм!..

— Какая жизнь!..

— А какой режиссер!..

— Нет, вы подумайте! — горячился Долин. — Ведь сюжета же нет, а смотрится на одном дыхании! Казалось бы, какое нам дело до походов бульварного журналиста, а как снято! Одна сцена с фонтаном чего стоит!

Я раньше думал, что Борис Генрихович типичный студийный мастодонт, замшелый в кондовом соцреализме. А, оказывается, и он не чужд веяниям.

— А все-таки, про что это? — спросила не видевшая фильм Берта Михайловна.

— Ах, Берточка! — попробовала объяснить Нина Марковна. — Так и не расскажешь... Провинциальный журналист приехал в Рим. Он хочет написать роман. Но вместо этого мечется в поисках светских новостей для газеты. Путается с бабами. Теряет себя...

— В общем, это не «Похитители велосипедов» — уточнил Долин. — Никакой безработицы, никакой нужды. Благополучие — и трагедия...

— Немного литературно, — высказал свое мнение Виктор Миронович. — Только думаю, у нас такие фильмы не скоро появятся.

— Искусство, чуждое народу! — с иронической усмешкой сказала Нина Марковна.

Они еще долго смаковали какую-то оргию в старинном замке, самоубийство какого-то немца, какую-то девицу на морском берегу. И восторгались красотой Анук Эме и органичностью Марчелло Мastroяни.

А дождь все не кончался.

В другой раз художественный руководитель коротал время, делясь свежими впечатлениями

— Получил я недавно приглашение в Комитет по Ленинским премиям, — рассказывал Борис Генрихович. — Было предложено принести с собой все железки.

Долин имел в виду знаки Сталинских премий. У него их было три.

— Принес я свои регалии и дипломы. Велели зайти в соседнюю комнату. Я обалдел, ребята! Там чуть не до потолка свалены красные дипломы, и пола не видно из-за брошенных побрякушек. Туда же полетели и мои. Потом как-то мимоходом сунули в руки новые знаки и дипломы. Иди, мол, Государственный лауреат с богом!.. А какая пышная церемония была в прошлые разы! Речи, цветы, гимн! И в кучу на пол... Нет, прав Эйнштейн: все относительно!

— Я свою медальку тоже в кучу кинул! — усмехнулся Эдуард Давыдович Эзов. — А потом мы с Зямой это дело отметили.

— Бедный Зяма! — почему-то усмехнулась Нина Марковна. — У него было две, как вы говорите, «железки». Мог бы иметь и третью...

— Я про Зяму только краем уха слышала, — произнесла Берта Михайловна.

— Это, Берточка, еще до нашей студии было. На Хронике, — стала объяснять Нина Марковна. — Там же премии в женском туалете распределяли. «Как! — говорили — у тебя только одна «Сталинка»? Иди, снимай Воздушный парад!». За фильмы о парадах премии давали автоматом. А потом золотым дном стали республики. «Советская Украина» — бах! «Советская Киргизия» — бабах!. Республики отсняли, взялись за автономии. Потом до краев и областей дело дошло. И вот Лидия Ильинична Степанова взялась за полотно «Советская Кубань». Оператором пригласила Зяму Фельдмана. А что — Зиновий Львович был военным оператором, человеком веселым, добрым и талантливым. У него уже две премии было. Третья была гарантирована... Но вот надо же! Готовый фильм показали Сталину — он тогда практически всю продукцию смотрел. Все шло прекрасно, пока на экране не появился роскошный прилавок сельмага и колхозница, выбирающая духи. «Что она нюхает! — спросил возмущенный вождь народов. — Вы что, хотите сказать, что советская женщина не знает, какие духи как пахнут!».

— Э, Ниночка! — перебил рассказчицу дотошный Эзов. — Мне эту историю рассказывали чуть по-другому. Будто Иосифу Виссарионовичу не показалось застолье селян. «Кто ж это ПИВО арбузом закусывает!».

— Ну, не знаю... Во всяком случае на другой день на Хронике вывесили приказ: Степанову увольняли, и Фельдмана тоже. Но как! С запретом на профессию! И до самой смерти лучшего друга физкультурников бедный Зяма работал лаборантом в каком-то фотоателье.

— Зяма что! — усмехнулся Эзов. — Там же был еще один оператор. Миша Глидер. С ним совсем чудная история приключилась

— Вот ведь какая штука, — продолжал Эзов. — Михаил Моисеевич всю войну провел с партизанами. Когда снимал, а когда и стрелял. Его очень уважал сам Ковпак. Работал Глидер и на «Советской Кубани». Но снял немного, а по правилам в титры вставляли только тех, кто снял больше десяти процентов материала. У Глидера же набиралось около девяти. А не будешь в титрах, не будешь и лауреатом. Вот он и засуетился. Уговорил Ковпака, и от больших партизанских командиров пошло письмо на студию. Включили таки Глидера в титры... А потом — и в приказ об увольнении.

— Опля! — восхитился Долин.

Тут заговорил молчавший до этого Беренштейн.

— У меня есть друзья на хронике, — сказал Юрий Иосифович. — Говорят, что, узнав о страшном приказе, Глидер опять кинулся к Ковпаку, доказывая, что у него не было десяти процентов, и он попал в титры по чьему-то недосмотру. Ковпак заступился

за боевого соратника, и он единственный был только понижен в должности до ассистента...

Честно признаюсь, этот разговор я помню в самых общих чертах. Я знал Фельдмана только в лицо. Да и старушку Степанову — тоже. А Глидер вообще на нашей студии не работал. К тому же я нервничал: день кончался, и у меня оставалось все меньше времени для работы. «Когда же они разойдутся?»...

Из меня рвались слова, и клавиши машинки выстукивали кривую картинку кунцевских улиц и серую полосу Можайского шоссе. И темные колонны ребят на нем.

Пионеры Кунцева, пионеры Сетунь, пионеры фабрики Ногина.

Я хотел написать сценарий об Эдуарде Багрицком. Я любил его стихи. И потом он был «нашим». В Кунцеве даже есть улица Багрицкого. И «Смерть пионерки» — это ведь тоже о моем городке. Только вот как показать рождение стиха? Не снимать же актера, терзающего бумажный лист при свете свечи. Или меряющего комнату в испугленном поиске рифмы. Или горящие глаза, в которых плещется ручеек вдохновения. Нет, наша студия в этом смысле была хорошей школой. Как не надо. В павильоне стояли фанерные силуэты с фотографиями Маркса и Энгельса. На экране они появлялись один за другим. Потом живые руки сплетались в крепком рукопожатии: «Хелло, Карл! Хелло, Фред!». Скромный оживляж! Чем так, лучше вообще без человека. Без человека?.. Не бог весть какое изобретение. Но оно позволяло провести поэта через долгий день в Московском предместье, увидеть этот день его глазами — все то, что становится поводом для мучительно рождающихся строк.

На ветках черемухи, на траве блестят капли росы. Верхушки забора золотятся под ранним солнцем. Человек переводит взгляд в комнату (человека нет, камера — это его глаза). В полумраке проступает неубранная кровать с отброшенным в ноги солдатским одеялом, дощатый стол, книги на нем.

Подходит к столу. Придвигает ближе исписанный, исчерканный лист. Негромко читает — по-видимому, то, что написал вчера вечером:

Копытом и камнем испытаны годы,

Бессмертной полынью пропитаны воды, —

И горечь полыни на наших губах...

Помолчав, повторяет, как бы прислушиваясь к собственному голосу:

И горечь полыни на наших губах...

Снова замолкает, что-то исправляет на бумаге и задумчиво произносит:

Мы ржавые листья

На ржавых дубах...

Чуть ветер,

Чуть север —

И мы облетаем.

Чей путь мы собою теперь устилаем?

Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?

Потопчут ли нас трубачи молодые?

Взойдут ли над нами созвездья чужие?

Мы ржавых дубов облетевший уют...

Я выбрал из жизни Багрицкого один день — тот, когда в больнице умирает хозяйская дочь. Пионерка Валя. Я хотел столкнуть мир обывателей с «бешенством ветров» молодого, наступающего будущего. Я не пожалел красок для «разоблачения» пожирающей души сытости. Я провел камеру через жадную суету кунцевского рынка.

Человек идет мимо рыбного ряда. Мимо мясного. Среди окороков, огромных кусков ветчины, багровых туш возвышается массивный краснолицый мясник с топором. (Интересно, как я представлял себе съемку этого изобилия в 1962 году?). Наливаясь кровью от напряжения, он замахивается. — Хек! — вырывается у него. — Хек! — топор опускается на тушу, словно на шею заклятого врага.

Человек зло бормочет: — Погибшая кровь быков и телят... — И найдя нужные слова:

Погибшая кровь быков и телят

Цветет на его щеках...

Я хотел показать одиночество поэта в мире, отходившем от идеалов его Революции. Мучительные минуты сомнения:

Над миром, надтреснутым от нагрева,

Ни ветра, ни голоса петухов...

Как я одинок! Отзовитесь, где вы,

Веселые люди моих стихов?

Но я оставлял поэту надежду. Она и в поступке умирающей девочки, отказавшейся в последнюю минуту принять родительский крестик, и в пионерской песне, и в гомоне ребячьих голосов.

— Молодость, — бормочет он. — Молодость, — задумчиво повторяет он, прислушиваясь к тому, что поднимается в нем. Он поворачивается и идет, убыстряя шаг по ночной улице.

— *Молодость... Молодость... Не погибла молодость... — твердит он. Слова прыгают в такт шагам: — не погибла молодость, молодость жива...*

— *Жива... Слова... — Он останавливается перед глухим забором, за которым звякает цепью собака.*

— *Слова... Какие слова? А? — спрашивает он. Собака молча бросается на забор, горячо дышит за дубовыми досками.*

— *Дура ты, собака! — убежденно говорит он. — А слова постылые... Понятно? Постылые слова... Скучные слова...*

Я вывожу Багрицкого в поле, заставляю яростно твердить:

— *Пусть звучат постылые, скучные слова.*

Он должен почти кричать:

— *Не погибла молодость, молодость жива!*

Господи! Как же я извел домашних своей декламацией! Но что делать, если чужие стихи переполняли меня, становились моими, и мне хотелось выплеснуть их, добиться отклика в сердцах окружающих. Я маршировал по комнате в такт стихотворному ритму и не жалел чужих нервов.

Мне хватило ума не «экранизировать» эти стихи. Я придумал свежий, как мне казалось ход:

И вдруг раздается странное шипенье. Как будто поставили мембрану с иглой на старую пластинку. Так и есть — шипит пластинка, приглушенно звучит хрипловатый неповторимый голос:

Нас водила молодость

В сабельный поход.

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед.

Боевые лошади

Уносили нас,

На широкой площади

Убивали нас.

Слушает поле. Слушает и молчит. Молчат желтые звезды, темные кусты и клочья тумана, повисшие над водой.

Говорит старая, заезженная пластинка:

Но в крови горячечной

Подымались мы,

Но глаза незрячие

Открывали мы...

Чтоб земля суровая

Кровью истекла,

Чтобы юность новая

Из костей взошла...

Да простится мне столь длинное отступление. Я не себя рекламирую. Я хочу передать чувства, которые владели нами тогда. Людей моего поколения называют «шестидесятниками». Есть в этом и одобрение, и укор. Мол, вы еще верили в «ленинские нормы жизни», и «комиссары в пыльных шлемах» казались вам воплощением суровой, но необходимой справедливости. Вам еще предстояло сказать о себе:

«Боже, какими мы были наивными,

Как же мы молоды были тогда».

Да, тем, кто не жил тогда, не понять, что значило для нас это время. Единственный раз в истории Советского государства интеллигенция и власть, казалось, движутся к общей цели. Позже ее назовут «социализмом с человеческим лицом». И только внутри недоверчивого организма что-то тикало. «Спешите! Говорите, пока разрешают! Смотрите, пока показывают! Здесь и сейчас! Оттепель, черт побери!».

Я показал свой опус все тому же Юрию Иосифовичу Беренштейну.

— Покажи Нине Марковне! — посоветовал он. А Виктор Миронович задумчиво потирал подбородок.

— Для ВГИКа годится.

Дался ему этот ВГИК. Через несколько дней меня остановила Марианна Елизаровна Таврог.

— Говорят, вы написали сценарий о Багрицком?

— Кто говорит?

— Нина Марковна.

Вот как. Значит, прочла, а мне ни слова.

— Да так... Чепуха... — промямлил я расстроенно.

До сих пор не могу простить себе этого. Ведь судьба ученых, художников и поэтов была коньком Марианны Елизаровны. Прочти она тогда сценарий и покажись он ей хоть сколько-нибудь интересным — кто знает, как повернулась бы моя жизнь.

А пока я вижу себя в машине, скользящей по серпантину, ведущему к вершине Ай-Петри. Кажется, это было только вчера. Звучала негромкая музыка, в свете фар удирала от нас лисица. Свет словно гипнотизировал ее.

— Да, прыгни в сторону, придурочная! — кричал я. Водитель смеялся, а Валентина Яковлевна испуганно вскинула голову. Один Игорь Корх никак не реагировал. Спал.

Мы втроем приехали в Ялту. Нам надо было снять море и восход солнца для журнала «Хочу все знать». Вот мы и спешили до рассвета подняться на самую высокую точку Крыма. Ехали в сердцевину ночи. Крутые виражи, тихая музыка, лисица в свете фар — сколько лет это видение живет в глубине памяти.

Приехали. Разбудили Корха и сонно поплелись на край плато. Игорь был чуть жив. И не сильно трезв. Ну, мы не придирались. Он где-то засадил железную занозу в ладонь. Ялтинский врач удалил занозу, но воспаление не проходило. И боль не стихала. Вот мы и посоветовали ему как следует «принять».

— В качестве наркоза! — охотно согласился он. Только мы-то уже знали, что «шнапстринкен» — его слабость.

Тихо постанывая, Игорь зарядил камеру. Начало светать. Горы были слева, море справа.

— Игорь, не спите! — предупреждала Валентина Яковлевна. А я то всматривался в горизонт, то поглядывал на часы. Вроде бы, уже пора. Но горизонт был пуст. Только где-то в горах светилась неоновая реклама. Откуда в диких горах реклама? — подумал я. И вдруг до меня дошло.

Но Валентина Яковлевна сама догадалась.

— Камера! — сказала она шепотом. Игорь тихо всхрипнул.

— Камера! — уже во весь голос кричала режиссер. — Проспим же!

— Вы знаете, на что нажимать? — повернулась она ко мне.

— Вот на эту пипочку? — предположил я.

— Жмите!

Камера зажужжала. Игорь встрепенулся, как боевой конь. Но мы с двух сторон прижали его — а то с испуга дернет камеру.

Солнце выкатывалось из-за гор, только гораздо ниже и левее, чем я ожидал. Где-то на середине восхода оно стало вползать в облако.

— Пусть работает до конца! — распорядилась Валентина Яковлевна.

— Там было пятьдесят метров, — уточнил Игорь. Он уже окончательно проснулся и сам выключил камеру. А мы по очереди заглядывали в «глазок». Солнце полно-

стью скрылось, но нужный кусочек мы отхватили. И я мог гордиться первым кадром, снятым «собственной рукой».

Летом мы снимали следующую картину — опять же по сценарию Дорохова. Называлась она «Тук-тук».

— Это о квартирных ворах, — объяснял всем веселый шутник Володя Рыклин. Владимир Григорьевич был нашим новым оператором.

— Домушники же сначала стучат в квартиру: тук-тук? Есть кто-нибудь?

На самом деле сценарий был о работе сердца. И, конечно, по очередной книге Алексея Алексеевича.

Мы с Галей съездили в киноархив в Белых столбах и отобрали несколько медицинских фильмов. И потом, вместе с Валентиной Яковлевной до умопомрачения гоняли их в просмотровом зале. И, что нехарактерно для операторов, Владимир Григорьевич смотрел вместе с нами.

Как-то раз мы собрались у просмотрового зала, а там все еще сидела другая группа.

— Извините, но сейчас наше время! — не очень любезно попросил я их. Пожилой солидного вида мужчина посмотрел на часы.

— У нас еще есть три минуты.

— Но вы же все равно не смотрите!

Я бы еще «качал права», но меня довольно решительно отстранила Валентина Яковлевна:

— Сидите, сидите, Михаил Абрамович! — извинилась она. — Мы подождем.

После просмотра она строго спросила:

— Вы хоть знаете, с кем связались?

— Да кто-то из студийных...

— Кто-то... Это же Михаил Абрамович Кауфман!.. Брат самого Дзиги Вертова!

— Да не просто брат, — поддержал ее Рыклин. — Оператор Вертова! Тот самый «человек с киноаппаратом»!

Я смутно помнил по ВГИКу мелькание людей, машин, трамваев, карусель колес и вагонов. «Вертовское» кино.

Но разве я был виноват, что не угадал в степенном, явно уставшем от жизни человеке того, кто был «киноглазом» Вертова. Кто снимал «жизнь врасплох». Кто одной рукой вел мотоцикл, а другой крутил ручку кинокамеры. Кто забирался на верхушку заводской трубы и снимал проносящийся над собой поезд.

Володя Рыклин восхищался смелостью, можно сказать, дерзостью Кауфмана.

— Все говорят: «Вертов! Вертов!». А где был бы Вертов без своего брата! Кто бы «ухватил» для него утреннюю суету, бродячих собак, дым заводов, прохожих, рабочих, матерей и детей. Из чего бы «клеил» Дзига образ своего города!

— Что же он теперь такой... снулый?

— Кто знает? У нас же не принято говорить с ветеранами о двух вещах: о политике и об их прошлом.

Как я мог тогда думать, что придет время, и я буду рассказывать другим о «киноках», и о «киноправде», и о «жизни врасплох», и о трагедии Михаила Кауфмана.

После «Человека с киноаппаратом» братья разошлись. Михаил более не разделял розового оптимизма Дзиги. К тому же ему надоело быть «киноглазом» в руках брата. У него был свой, более критический взгляд на советскую реальность.

И вообще, Михаил не считал, что жизнь сводится только к киносъемкам. Он любил жизнерадостных друзей и красивых женщин, с удовольствием проводил время в их обществе. На любой вечеринке он был душой компании.

Одно время он жил с итальянкой Габриэль. У них с Михаилом уже была очаровательная дочь. Михаил не чаял души в обеих и был по-настоящему счастлив. Его предупреждали об опасности романа с иностранкой, но он не обращал на это внимания.

Из дневника Дзиги Вертова:

«Сегодня утром исчезла Габриэль — подруга Кауфмана. Ребеночка нашли в Измайловском зверинце в ужасном состоянии. Кауфман в невменяемости. Он рыщет на мотоцикле по городу, ничего не видя, и ревет посреди улицы, как раненый зверь. Потом, обойдя все отделения милиции, все больницы, все морги, бросается к себе в комнату и кидается то на стену, то на постель, то на пол. И плачет, содрогаясь в конвульсиях. Его пугает вид бритвы — неодолимое желание зарезаться. Ночевал у него. Затем он у меня. Ребенку нужно перелить кровь. Переливание назначено на утро, но ребенок умирает ночью».

Михаил тяжело заболел (у него случилась прободная язва желудка), а когда он пришел в себя — это был уже совершенно другой человек — преждевременно состарившийся, сломленный жестокой и неумолимой властью. Габриэль так никогда и не нашли.

В другой раз Владимир Григорьевич показал мне глазами на студийного аборигена с видным носом.

— Знаешь, кто это?... Николай Экк! Помнишь «Путевку в жизнь»?

Еще бы не помнить. Моя мама, сидя за швейной машинкой, мурлыкала незамысловатую песенку.

— *Мустафа дорогу строил,*
А Жиган по ней ходил,
Мустафа по ней проехал,
А Жиган его убил.

И рассказывала, как совсем молоденькой бегала на первый звуковой фильм. Позже, уже во ВГИКе, мне плешь проели лекциями о значении «Путевки» для истории кино, о смелости режиссера и о социальном значении его фильма.

И вот он стоит рядом. Живой классик. Простой, как жизнь.

Осенью мой друг Миша вернулся с целины. Он ездил туда с Фельдманом — тем самым Зямой, о котором так много говорили в объединении. Миша заочно учился на операторском факультете. Ему уже приходилось «быть на подхвате» — снимать, например, встречу Юрия Гагарина. Но это были случайные короткие эпизоды. А тут вдруг Зиновий Львович предложил ему самостоятельную работу на фильме, где сам был режиссером. А когда Миша заикнулся о гонораре, который он, конечно, вернет Фельдману, Зяма велел больше о такой глупости не заикаться.

Развесив уши, слушал я Мишин рассказ о поездке. Фильм был посвящен юбилею хрущевской затеи — освоения целины. Но вот незадача: урожая в юбилейный год не было. Хрущева ведь предупреждали: целина — рискованное дело. Первые год-два урожай может быть таким, что его некуда будет девать. А потом наступит лето без дождя, да еще и с суховеем — и истощенная земля ничего не родит. Весенние замеры влажности показали, что воды в почве практически нет. При таких показателях в Америке вообще не сеют.

— Но что нам Америка! — рассказывал Миша. — Партия приказала: «Сеять!». Приказ был выполнен — на поля вышли трактора с сеялками, вложили в сухую землю тонны зерна, а осенью сотни комбайнов убрали с этих полей то, что на них сумело вырасти!

— Но мы, киношники, воробы стрельяные! — усмехался Миша. — И тут выход нашли.

На уборку урожая полетели в Оренбургскую область — там такой засухи не было. И красиво так все сняли!.. А когда приехало обкомовское начальство, мы поставили его на колени и заставили ползать среди пшеничных недомерков. А на экране все выглядело так, будто люди продираются сквозь колосющийся лес...

А наш «Тук-тук» тем временем отсчитывал полезный метраж. Я не очень отчетливо помню сами съемки. Помню только, как мы с Валентиной Яковлевной сидели на подоконнике в какой-то клинике, и бедная женщина жаловалась мне, какой тиран ее

старенькая мама. Как она властна и капризна, как заедает ее. На режиссера жалко было смотреть. Я и отводил глаза, чтобы не видеть, как по полным щекам стекают сиротливые слезинки.

Ее откровенность обязывала. И я в свою очередь делился с Валентиной Яковлевной проблемами, отравляющими мою семейную жизнь. Плакались друг другу в жилетку.

Работа была несложной, Найти объекты съемки, договориться с местным начальством, убедить Абрамсона, что если мы не получим свет и машину, мир рухнет. Я уже мог делать это автоматически. Даже появился азарт: добиться на диспетчерском совещании того, что остальным не под силу.

Голова моя была занята другим. Прозвенел первый звонок, возвещавший, что поезд мой судьбы может пойти по другим путям.

Повод для звонка был, по правде сказать, забавным.

В объединении «Радуга» существовал обычай отмечать окончание года общей гулянкой в «Арагви». Хороший был ресторан: с лобиво, сациви, цыплятами-табака и грузинским вином. В этот раз застолье было веселым и дружным. Все разомлели, расслабились. И я решился: вышел на середину зала и прочел специально заготовленные стихи. Честно говоря, я заранее показал их Виктору Мироновичу.

— Что ж, — сказал он. — Читай!

*Вы можете спорить до посинения,
Но все-таки с вами не соглашусь я,
Что есть на свете что-нибудь лучшее,
Чем второе объединение!*

И дальше в зарифмованных строчках я рассказывал, какие мы все чудесные, как Нина Марковна объясняет авторам, кто они есть на самом деле, как ставит на место зарвавшегося Борю Заходера, как в трудную минуту спешит на помощь Сеня Райтбурт — «главный барабанщик объединения». В общем, как все у нас славно.

Меня слушали, смеялись и даже проводили аплодисментами. Но главное случилось на другой день. На лестнице меня остановил Злотов.

— Знаешь что? — сказал Виктор Миронович. — Пора делать из тебя человека!

Он привел меня в объединение и сунул в руку папку.

— Здесь координаты лаборатории в Физическом институте. Там придумали какой-то сверхпроводящий электромагнит. Страшно мощный и почти не потребляет энергии. Сценарий должен был написать Орлов, но он давным-давно не дает о себе знать. Так что сходи туда, разберись и попробуй написать...

Вот те на! Одно дело писать для собственного развития, а другое — для дела. У меня поджилки тряслись — а вдруг не получится!

В Физическом институте меня принял человек по фамилии Карасик.

— А где Орлов? — первым делом спросил он. — А то он у наших денег назанимал...

— Н-н-не знаю, — пролепетал я. — Давно не видел.

Губастого Орлова я действительно видел редко. И еще реже — трезвым. Помнил только, что при виде его надо спасаться бегством — пока займы не попросил.

Значит, он и здесь постарался.

Но Карасик на эту тему больше не говорил. Он привел меня в лабораторию, где стоял металлический сосуд — вроде тех, в которых хранят жидкий гелий. Оказалось, что гелий там и, правда, был. А еще там был электромагнит из сплава ниобия с цирконием. Вот! Сколько лет прошло, имена людей и даты стерлись из памяти, а эти ниобий с цирконием сидят, как заноза! Это надо же: быть закоренелым троечником по физике, носить клеймо законченного гуманитария, а свою первую сценарную работу писать о сверхпроводимости. О которой в школе-то мы и слыхом не слыхивали.

В общем, нарисовал мне Карасик схему, сунул какую-то популярную статью и отправил восвояси. И пошел я, солнцем палимый, в мучительном раздумье: как рассказать то, в чем разбираешься, как кое-кто в апельсинах.

Думал-думал, гадал-гадал. Еще не раз ходил к Карасику. И изложил свое видение на одиннадцати страницах. Бедный Виктор Миронович! Он читал мой роман, перечитывал, перелистывал.

— Знаешь, сколько страниц должно быть в таком сценарии? — спросил он, безнадёжно глядя на меня. — Полторы!

— Не растекайся мыслью по древу! — изрек он в следующий раз, листая семистраничный вариант. Мне даже обидно стало — я ведь наступал на горло собственной песне.

— И потом, — добавил редактор, — в сценарии должна быть придумка хоть на копейку! Должна быть изюминка! Какой-то неожиданный поворот! Пустячок, без которого даже двухминутный сюжет ничего не стоит!

Сел я и стал гадать, откуда мне изюминку выковырять. Ковырять, ковырять, и в десятом варианте как будто что-то нащупал.

«Жили-были Магнит и Железная проволока. Жили, и никто о них не вспоминал. Но однажды на столе появились Руки.- Не горюй! — сказали они Магниту...

А Виктор Злотов сказал «Гут!»...

— Нормально! — сказал другой Виктор — Архангельский. Вот чье мнение мне было особенно дорого. В то время это был чуть ли не режиссер номер один в нашем объединении. Он ввел в моду метод «скрытой камеры»: люди не знали, что их снимают, и вели себя естественно. Так был сделан драматичный фильм «Битва в Миорах» — о борьбе с бешенством. И полнометражное полотно о советской школе (что-то вроде «Педагогических раздумий»). Вот уж где учителя представляли во всей красе — им же некого было стесняться: *«А теперь, дети, разберем образ Татьяны по жилочкам, по косточкам!»*.

И грянул гром.

— Что это такое! — кричал Долин. — Я во ВГИКе не знаю, куда деться от этой детской писанины! Что вы мне сказки рассказываете! — не давал он Злову даже рта раскрыть.

Бедняга Злов беспомощно пожимал плечами. А я все глубже проваливался сквозь пол.

Ну, написал я еще один вариант — без Рук. Долин, скрипя зубами, утвердил. Но тут же возникла проблема номер два — обойти Михваса. Слыханное ли дело, чтобы директора картин писали сценарии! Михвас никогда на это не пойдет.

— У твоей жены другая фамилия? — спросила Нина Марковна.

— Вот и заключай договор с ней! — предложила она Злову. Хорошо, что Берта Михайловна не слышала этого разговора.

Таня приехала на студию, расписалась, сходила в кассу. Сто рублей — это не хухры-мухры. Больше моего месячного заработка! Арифмометр в голове тут же заработал: «Если по сценарию в месяц — то это... ого-го!».

Спустя несколько месяцев Таня позвонила на студию: «Ты сидишь? Мне на книжку пришло еще сто двадцать рублей!». Оказалось, за снятые сюжеты для кино-журнала авторам полагалось дополнительное вознаграждение в зависимости от тиража.

На другой день мы пошли в комиссионный и купили мою мечту — пишущую машинку. Портативный американский «Ройял» верой и правдой послужил мне больше тридцати лет.

А мои вечерние посиделки закончились позорным конфузом. Я заработал жгучую неприязнь со стороны очень уважаемого мной режиссера.

Федор Александрович Тяпкин держался от всех на некотором расстоянии. Он вырос из художников-мультипликаторов и славился сдержанной интеллигентностью. Меня он всегда одергивал: «Не говорите так громко!». Что он гений, я понял после его фильма «Мост». О бумажной архитектуре. Первый раз я дважды засыпал на протяже-

нии десяти минут. А во второй раз до меня стало доходить, насколько все в этой картине изящно, тонко, деликатно. Насколько она умна. А потом Федор Александрович сделал цикл фильмов о Ленине. Тогда пошла мода на возвращение к «ленинским нормам жизни». Всплыло так называемое «завещание» вождя. И о последних годах Ильича говорили как о трагедии человека, понимающего, что его идеалы извращаются.

Вот об этом и были фильмы Тяпкина. Грустные, задумчивые, берущие за живое.

Принимали их «на ура» и даже выдвинули на Ленинскую премию.

Как-то вечером сидел я за студийной машинкой. И вдруг в объединение вошли Тяпкин и молоденькая симпатичная дама. Она стала брать у него интервью. Мне бы встать и выйти. Но что-то пришили меня к стулу. До сих пор не понимаю, почему у меня отнялись ноги. Печатать я все равно не мог. Явно вслушиваться в разговор было бы уж совсем неприлично. Уйти — выглядело бы демонстративно. Вот и сидел, покрываясь потом от неловкости.

А дама все приставала к Тяпкину: как да как вы себя чувствуете после выдвижения на премию?

Федор Александрович потупился:

— Как я могу себя чувствовать, когда меня ставят в один ряд с самим Михаилом Ильичем!

В том году на Ленинскую премию выдвинули и «Девять дней одного года» Ромма.

— Стыдно же людям в глаза смотреть!

При этом он посмотрел на меня, и в его взгляде был не только стыд. Я понял, что на любовь с его стороны рассчитывать нечего.

Так и случилось. Каждый раз при моем появлении лицо Тяпкина мрачнело. А стоило мне заговорить, как он, досадливо морщась, повторял свое:

— Не говорите так громко!

За свои фильмы Федор Александрович был удостоен Государственно премии имени братьев Васильевых. Не Ленинская, но все же.

Отношения с еще одним режиссером я портил старательно и долго. Нелегкая дернула за язык высказывать свое мнение об уровне фильмов «Моснаучфильма». Тогда я еще не придумал оборота «провинциальное кино». И все равно я не относил их к художественным произведениям. На это моего вкуса хватало. А вот тактом обременен я не был.

— И настоящих режиссеров у нас раз-два и обчелся! — заявил я во всеуслышание. — Райтбурт, Тяпкин, Архангельский...

На мою беду на этом бенефисе присутствовал Николай Иванович Никиткин. Он аж взвился.

— Кто вам дал право так говорить! А Згуриди? А Долин? А ваша Валентина Яковлевна?

Я думаю, подозревалось: «А Никиткин?». Но он назвал еще десяток фамилий, а я стал что-то мекать про новые формы, про мировой уровень, про что еще, я не помню. Оправдывался, одним словом.

— Ну, ты вертелся, как уж на сковороде, — «взбодрил» меня чуть позже Юрий Иосифович Беренштейн. Но добавил:

— А вообще-то ты прав...

Через пару месяцев я стоял за кулисами Центрального детского театра. Вокруг возлились с приборами осветители. «Раз, два, три!» — считал в микрофон звукотехник. Николай Иванович Никиткин обговаривал с оператором точки съемки.

Пока Валентина Яковлевна отходила от «Тук-тука», меня «кинули» на замену уехавшего в Киев Никиткинского директора.

— Только до его возвращения! — предупредил меня Николай Иванович честно. Да я и сам не горел. Я хотел вернуться к Валентине Яковлевне. Но на пару недель — почему же нет?..

Мы снимали юбилей театра. Сразу двумя камерами. Никиткин волновался, дергал ассистентов. У меня все было на мази. Поэтому, когда все было готово, публика заполняла зал, звенели звонки, я с самым простодушным видом спросил у режиссера:

— Николай Иванович, я вам сегодня больше не нужен? Можно мне уйти?

Никиткин посмотрел на меня как на полоумного. У него аж челюсть отвисла.

— Как уйти? Такая сложная съемка! Вы что!

— Да у меня друг женится, — стал объяснять я, уже понимая, что сморозил что-то не совсем то.

Действительно, мой друг Миша сегодня женился на красивой Тамаре. И мы с Таней были приглашены на свадьбу. Мы уже и подарок купили, и я предвкушал веселое застолье. Я искренне считал, что группа и без меня не пропадет. Съемки — они же каждый день. А свадьба — раз в жизни. Так я тогда думал.

Пришлось мне звонить и извиняться. Я еще надеялся, что за час мы управимся, но кропотливый режиссер заставил нас проканителиться весь вечер. Мне было не до актеров, не до смешного «капустника», не до веселья. Я посматривал на часы и скрипел зубами «Он что, нарочно тянет время?».

Так мы и расстались, взаимно недовольные друг другом. Только Нина Марковна ехидно спросила:

— Так тебе и не дали поддержать свечу?

Она уже была со мной на «ты». Но что она имела в виду?

Я хорошо помню день в ноябре. Мы сидели, подавленные невероятным событием: в Америке был застрелен президент Кеннеди. Может быть, самым страшным было то, что убийство показали по телевидению.

— Просто шоу какое-то! — возмущался Борис Генрихович.

— То ли еще будет! — поддержал его Райтбурт. — Мир становится театром.

— Скоро станут продавать билеты... — начала было говорить Нина Марковна. Но тут в объединение ворвался пышущий электричеством Кирилл Бурковский.

— Кто, в конце концов, автор? — нервно вопрошал он. — Покажите мне этого человека!

— Я сразу понял, кого он ищет. Кирилл Петрович снимал в Физическом институте сюжет по моему подпольному сценарию. Я с самого начала не ждал от этого ничего хорошего. Бурковский был из плеяды молодых режиссеров, которым Долин доверил съемку игровых фильмов по популярным детским книжкам: «Русачок», «Рыцарь Вася». «Небо начинается здесь». Борис Генрихович не скрывал огорчения по поводу того, что некоторые фильмы получились не самого лучшего качества. Я сильно подозревал, что мои «сверхмагниты» ждет та же участь.

— В Институте требуют автора! — жаловался Бурковский. — Говорят: «Он же разобрался!». Будто я дурачок какой! Эта ваша Коган на старости лет совсем оборзела!

Он еще долго распространялся по поводу того, что авторы пишут, не думая: можно ли это снять. «Написали — и в кассу!». А бедные режиссеры хлебают по полной...

Долин ехидно поглядывал на Злотова. Зотов бормотал «Ну, ладно...ну...» и старался на меня не смотреть.

Одна Нина Марковна заступилась за автора:

— Вообще-то написано достаточно внятно.

С некоторых пор в ее отношении ко мне появилось нечто покровительственное.

— Сколько же стоят эти штаны? — спрашивала она, когда я появлялся в новых китайских брюках. — Четыре рубля?

По-моему, брюки были из парусины. Они страшно шуршали при ходьбе. Казалось, что за мною все время кто-то идет. Не думаю, чтобы Нина Марковна прикупила такие штаны мужу Паше.

Нина Марковна была молодой мамой. Я помнил ее — тоненькую, с большим животом, на котором с трудом стягивалось демисезонное пальтишко. Теперь она с сочувствием слушала мои жалобы на сложности с «поступлением» дочери в детский сад.

— Пусть привыкает к трудностям жизни! — утешала она меня.

А подругам-редакторшам, залетавшим «на огонек», она предлагала:

— Ну, иди уже поплачь на моей груди!

Через пару дней Кирилл Петрович Бурковский подсел ко мне:

— Извините за мое «выступление»! Я думал, это ваша старенькая однофамилица!

Есть такая баламутная сценаристка... Теперь-то я понимаю: не ее ума это произведение!

До меня так и не дошло: похвала это или порицание.

Зато я имел удовольствие в первый раз в жизни почувствовать то, что испытывает автор при виде его детища на экране: «Боже! Что он наснимал! Ничего же общего с тем, что я придумал!».

А, между тем, я пока оставался директором картины. И сметы, рапортчики, диспетчерские совещания никуда от меня не делись. Так же, как строительство декораций и выбивание аппаратуры. Мы снимали фильм «Как устроен организм человека». Догадайтесь, по чьему сценарию? Ну, конечно же, автором был Дорохов! И наша группа работала в прежнем составе: Валентина Яковлевна, Володя Рыклин, Галя и я. Мы как-то сблизились, сжились друг с другом. И мне было по-прежнему интересно наблюдать движение режиссерской мысли. Новую картину Валентина Яковлевна решила снимать в условной обстановке. На этот подвиг ее вдохновил удачный фильм Ельницкой «Окна настезь». Галина Андреевна сняла его по сценарию искусствоведа Алексея Гастева. Фильм был о современной архитектуре и очень смело проповедовал простоту форм и функциональность (если я правильно понимаю, что это такое). Мой режиссер пригласила художником на картину молодого макетчика Женю Статенкова, и они вместе придумали рисованную декорацию. То есть мы снимали на фоне стен с нарисованными на них окнами, дверями и даже мебелью. Получалось очень современно.

Женю мне приходилось выбивать у начальника макетного цеха. Всеволод Иванович славился неременной трубкой в зубах и вздорным характером. Первым его ответом на любые просьбы было железное «Нет!». Правда, потешив свою гордыню, он мог потихоньку и уступить. Но это же надо было знать!

Добиться его расположения мне помогла совместная поездка на Разгуляй. Там, в каком-то подвале, размещались наши макетные мастерские. День был морозный, ма-

шина не отапливалась, я промерз насквозь. В мастерской мы не успели отогреться, и на обратном пути я чувствовал, что синеею.

— Надо отогреться! — предложил Всеволод Иванович, когда машина остановилась у проходной. — Зайдем в ППС!

«Пивная против студии» славилась коньячными автоматами. Я разменял денежку и вручил начальнику полтинник. За свой я получил порцию напитка и бутерброд с сыром.

Кто сказал, что коньяк пахнет клопами! Он пахнет благодатным теплом и душевным расположением. Я чувствовал, как холод утекает из всех пор моего тела. А размягченный Всеволод Иванович говорил:

— Смотрите только не разбалуйте нашего Женьку!

Ну, это он зря беспокоился. Женя был веселым и скромным. Любил он две вещи: свой мотороллер и анекдоты. Стоило налететь на него в коридоре, как на тебя тут же обрушивалось:

— *Угадай: глаза горят, хвост длинный, а яйца грязные. Что это?.. Очередь за яйцами по 90 копеек!*

Или же, оглянувшись на всякий случай по сторонам:

— *Принимают мужика в партию. Спрашивают: — Ты куришь?.. — Курю, — отвечает мужик. — Надо бы бросить! — Брошу... — А выпиваешь? — Бывает... — Надо бы бросить! — Вот ты женат, хороший семьянин. А с другими женщинами имел дело? — Если честно, то да. — Надо бы бросить!.. — А если война начнется, ты жизнь за Родину отдашь? — Конечно, отдам, на кой хрен мне такая жизнь!*

Если при этом присутствовал Рыклин, Женя не оставался без ответа

— *Посадил дед репку. Дедку за репку. Бабку за дедку. Внучку за бабу. Жучку за внучку. Кошку за жучку. Мышку за кошку... И вот мышку недавно реабилитировали...*

Валентина Яковлевна тихонько посмеивалась, зато мы с Галкой веселились от души.

— *У вас мясо есть?*

— *У нас рыбы нет, а мяса нет напротив.*

К сожалению после этой картины Женя Статенков ушел в «надписи». И всю остальную жизнь писал титры к нашим картинам. Платили там хорошо.

Где-то в то же время мы снимали сюжеты о вещах, связанных с вибрацией. Этой теме отводился целиком выпуск киножурнала «Хочу все знать». «Изыюминкой» журнала должны были стать две истории. Для одной из них я нашел в каком-то научном институте редкий кадр: разрушение Такомского моста. Это был один из самых длинных мос-

тов в Америке. Погубила его вибрация, вызванная постоянными порывами ветра. В какой-то момент эти порывы совпали с собственными колебаниями моста. На пленке было хорошо видно, как мост раскачивается все сильнее. И рушится — вместе со стоящими на нем автомобилями. Правда, пленка была узкая, мне пришлось возить ее на Хронику, где была установка для перевода в нормальный формат. Зрелище получилось впечатляющее.

Другая история была полусказочная. Будто бы когда-то мост рухнул в Петербурге, только не из-за ветра, а из-за того, что собственные колебания моста совпали с ритмом марширующих по нему солдат. Эту историю Валентина Яковлевна видела мультипликационной. И по ее просьбе изготовлением мультипликации занялся Миша Марьямов. Миша был братом Алика — мужа дочери нашего режиссера. Он пришел на студию после работы в каком-то архитектурном бюро. Видно, рутина заела. А у нас что-то отвечало его устремлениям. Он хотел быть не только художником, но и делать фильмы о живописи. Миша Марьямов не скрывал интереса к русскому авангарду. И уж совсем в минуты откровенности признавался, что его мечта — тсс! — сделать картину о Кандинском. Когда-нибудь...

Грандиозность замыслов не очень-то способствовала будничному труду мультипликатора. Миша тянул, тянул с эскизами, пока кто-то из доброжелателей просто-напросто не запер его на ключ.

— Выпущу, когда закончишь!

Что было делать? Миша обиделся, но напрягся. И у него получился потешный и яркий эпизод.

Кстати, после случая с мостом солдатам запретили ходить по мостам «в ногу».

Мы снимали на фабрике музыкальных инструментов — «почему баян играет». И на кондитерской фабрике. Здесь было не так интересно, но вкусно. Осветители первым делом нашли цех, где карамель начиняли ромовой настойкой. Как я мог после этого требовать от них вменяемости.

Нашим объектом съемки был виброконвейер. Карамель ползла по тряской ленте, покрываясь по пути шоколадной глазурью. В конце конвейера большие комки лишнего шоколада падали в подставленную корзину.

— Сколько добра пропадает! — жалел я. И поэтому не очень сопротивлялся, когда местные работницы запихивали шоколадные комки в мой портфель

— Вашу машину проверять не будут! — успокаивали они меня. — А домашних сладким побалуете. Небось, не каждый день...

Домашних я побаловал. И даже пару комков принес на другой день в объединение. Пили чай с шоколадом.

— В следующий раз я с вами поеду! — заявила Нина Марковна.

— И я! — сказала Берта Михайловна.

— Надеюсь, он легальный? — засомневался Борис Генрихович.

— Ну... да... — не очень уверенно успокаивал я его.

Но в эту минуту в комнату влетел Бурковский. Как всегда, сильно наэлектризованный.

— Скандал! _ заявил он с порога. — Снимаем мальчика со скрипкой! Вундеркинда! Привезли на час! Оператор попросил добавить свет. Принесли две большие тарелки...

— Пээры, — подсказал я, смутно догадываясь, что сейчас будет.

— Включили, направили на потолок. Все ровно. Все сияет. Я кричу: «Мотор!»

Смотрю, а мой скрипач вместо того, чтобы играть, уставился на пол. А там растекается лужа! Коричневая! И течет она из осветительных приборов! Ржавчина какая-то...

— Шоколад... — чуть слышно поправил я его. Значит, осветители вчера были так хороши, что забыли забрать из приборов ворованный шоколад.

Тут Долин что-то сказал, отодвигая блюдце с коричневой крошкой. Лучше я не буду вспоминать — что.

Когда журнал был вчерне смонтирован, меня послали к Эдику Успенскому — передать опись кадров для работы над дикторским текстом. Эдуард Николаевич жил в маленькой двухкомнатной квартирке со смежными комнатами. Почему-то дверь во вторую комнату была отрыта, но перегороджена диван-кроватью. Может быть, подумал я, жена от него ушла и запретила жить там. Но спросить постеснялся.

Эдуард недавно закончил МАИ, работал инженером, и литература была пока способом приработка. Поэтому он устроил мне настоящий допрос: как да как пробиваются сценарии на студии? У него, мол, есть некоторые задумки. Но куда с ними лучше податься: на «Мультфильм» или к нам? Где редакторы сговорчивее?

— Эдуард! — стал я отговаривать его. — Вы не представляете, какие мытарства вас ожидают! Поправки, переделки по десять раз, капризы режиссера! И обида от того, что на экране от вашего труда ничего не осталось!

Эдик слушал и понимающе кивал. Я ушел от него с чувством выполненного долга.

— Уф! Уберег человека от унижений и нищеты!

В это же время произошло событие, значение которого мы не сразу поняли. В Комитете «зарубили» большой сценарий Алексея Гастева о науке. Фильм по нему дол-

жен был снимать Семен Липович Райтбурт. Он собирался сделать картину — философское рассуждение о взаимоотношении Знания и Человека. Это была «его» тема для «его» зрителя. В стране появился слой образованных людей — так называемая «научно-техническая интеллигенция». Это были специалисты, обязанностью которых было думать. Вот они и думали. О своей физике, химии, биологии. А в промежутках и о литературе, живописи, поэзии. Для них устраивались выставки, писались стихи и песни. Для них Михаил Ромм снял «Девять дней одного года».

Да что говорить! Если даже я, завзятый «физический» троечник стал покупать и читать научно-популярные книги. Я притаскивал в объединение увесистые тома ежегодника «Наука и человечество», богато украшенного старинными гравюрами и современными коллажами. Я запоем читал «Пути в неведомое». А впереди у меня была «Неизбежность странного мира». Свой неофитский восторг я выплескивал на головы окружающих. И втайне гордился снисходительным одобрением самого Семена Липовича.

Сначала сценарий Гастева был рассмотрен вполне благосклонно. На студии замелькал начальник главка Сазонов. Коротко стриженный, в кожаном пиджаке, он напоминал популярного актера Олега Ефремова. Нина Марковна говорила, что Сазонов был руководителем ее мастерской во ВГИКе и славился широтой взглядов. У него были только некоторые замечания к режиссерскому сценарию, который успел написать Райтбурт.

Но вдруг все неожиданно переменялось. Замечания стали жестче, и они посыпались градом. А потом в Комитете вообще решили закрыть картину. Для Райтбурта это был удар, от которого он не скоро оправился, А для остальных — предупреждение, в смысл которого не хотелось верить: «Оттепель кончается! Стройтесь, граждане, в шеренгу!».

Но пока это касалось только заметных фигур и глобальных тем. А о «буржуазной лженауке» генетике еще можно было говорить. И Валентина Яковлевна взялась за постановку биологического боевика «Секреты живой клетки». Мы должны были показать процессы, происходящие в самых глубинах живого организма: превращения вещества, рождение энергии, передачу информации. Нам предстояли съемки на химических заводах, на колхозных полях, в обезьяньей стае.

Но сначала я должен был пережить свое собственное приключение.

Он улетал из Москвы 10 апреля 1963 года. Он запомнил этот день, потому что неожиданно среди весны выпал снег. ИЛ-18 доставил его в Симферополь. До Ялты

можно было добираться на автобусе, на такси или на вертолете. Он выбрал вертолет.

Сначала летели высоко, потом горы выросли, и когда плато страшиновато приближалось, оно вдруг оборвалось, и внизу открылось море — синее, в белых барашихах, не знающее предела.

В доме отдыха «Актер» его сначала поселили в большой номер с двумя соседями — пожилыми москвичами. Один из них оказался известным педиатром и — что самое интересное — земляком его матери. Они были из одного местечка в Белоруссии, и старый доктор хорошо помнил сестер его мамы.

Потом приехал друг Саня, который и подбил его на отдых в Ялте. Теперь они жили вдвоем, и вместе искали нехитрые приключения, доступные в этом прибежище одиноких мужчин и немолодых дам.

— Какие вы гордые! — упрекали дамы друзей.

— Мы не гордые. Мы застенчивые, — могли бы сказать они. Он пробовал сыграть в теннис с дамой спортивного покроя, но она, мгновенно и с позором выставила его с корта. Единственное, что у него получалось, — набрасывание колец на колышки. Силы тут не требовалось, а лишь некоторая доля решимости. Он не примеривался тщательно и долго, а метал кольца быстро и энергично. Одно за другим. И иногда метко.

За этим занятием она его и заметила. Она была физиком из приволжского города. И ей, наверное, показалось, что он и в остальном так же решителен и быстр. Сначала они соревновались в этом нехитром занятии, потом стали гулять у моря. Море было холодное, и купаться отваживались самые отчаянные смельчаки.

— Мне в такое холодное нельзя, — загрустила она. И он вдруг ощутил щемящую жалость к ней и умилился этой жалости.

Потом он поехал на экскурсию в Севастополь, и в конце долгого дня понял, что соскучился. И они снова гуляли вдвоем по голому пляжу и по ялтинской набережной, обособленные от мира стеной взаимного интереса.

А потом настал последний вечер. Теплой ночью они сидели на каменной ограде парка, и его пиджак все время сползал с ее плеч. Он поправлял, поправлял, и в какой-то момент не выдержал. Они целовались торопливо и грустно. И долго звали сторожа, чтобы он впустил их в спящий дом отдыха.

Утром пришло такси. Сердце у него разрывалось. Старый доктор смотрел на него с сочувствием и осуждением.

Дома надо было жить, как будто ничего и не было. Днем это почти получалось. Зато ночью он будил жену унылыми вздохами.

— Что с тобой? — спрашивала жена. Представьте себе, она его жалела!

Летом он дважды ездил в город на Волге. Они плавали на пароходе, бродили по местному кремлю.

А осенью встретились в Сокольниках. Уже аллеи были красны от опавших листьев, и холодок струился с ясного неба. Она сказала, что ее переводят в подмосковную Черноголовку. И он вдруг испугался, что она ждет от него быстрого и решительного шага. И осенний холод тронул его затылок и пополз по спине.

А жизнь на студии шла своим чередом. Наша Галя вышла замуж за такого же ассистента Николая.

— Ну, он ходил, ходил за мной, — признавалась она мне. — Надоел до чертиков! Подавай ему свадьбу! А так он не может?..

Саша Бланк учился во ВГИКе — в режиссерской мастерской Долина. Мой друг Миша перешел уже на четвертый курс операторского. Саша Адамов умер от рака легких.

Директор Капул ловил меня за пуговицу и жарко шептал:

— Слышал? «Сам» вызвал к себе министров и спросил: «Через сколько лет сможете обойтись без евреев?». Только министр обороны назвал цифру «двадцать»!

— Это так? — спросил я у Володи Рыклина. Владимир Григорьевич знал все. Ведь его отец был официальным фельетонистом газеты «Правда». И сам Володя со школьных лет водил дружбу с сынками наших вождей.

— Насчет космоса и ракет это точно!

И тут же поделился: *«Умирает старый армянин. Вокруг собрались родственники, просят дать последний совет — как жить дальше. Умиравший шепчет:*

— Берегите евреев!

— Что? Что?

— Берегите евреев!»

Я не хотел быть в долгу:

«Умирает старый еврей. Семья собралась вокруг. Он из последних сил шепчет: — Абрам здесь? Ция здесь? Иосиф здесь? Мойше здесь? Роза здесь? Аарон здесь? — А зохен вей! Кто же остался возле синхрофазотрона?»

Семен Липович Райтбурт снимал фильм «Что такое теория относительности».

В павильоне построили купе поезда. И там никому не известная актриса Алла Демидова объясняла, что это такое, знаменитым Грибову и Вицину.

А я был у Райтбурта подопытным «кроликом». Он отлавливал меня в коридоре и затаскивал в просмотровый зал.

— Вам понятно? — пытал он меня после очередного отснятого куска. В смысле, если я пойму, то и любой дурак поймет. Он ведь ничего не знал про мою тройку по физике.

Я накропал очередной опус для киножурнала. «Историю спички». Думал, после моего дебюта Злотов и разговаривать со мной не станет. Ан нет! Он принял сценарий всего с третьего раза. И даже Долин не метал громы и молнии. Он понес сценарий Михвасу. Но тут нашла коса на камень. Михвас уперся: «Не может директор картины быть сценаристом!».

А у нас случился перерыв в картине. И всей группе грозил простой. Надо было срочно что-то запускать. И пришлось Валентине Яковлевне ставить под моим сценарием свою фамилию. Михвас подписал, не читая. Но Валентина Яковлевна тут же ударилась в панику: «Что будет, когда он узнает, что его обманули!». Ее страх заразил Долина.

— Опять меня втравили в какую-то авантюру! — кричал художественный руководитель. А я думал: «Почему от меня столько беспокойства?».

Мы сняли в павильоне добывание огня древним человеком. Его изображал макетчик Ряховский. Коля напялил ту же шкуру, которой пугал народ в Ялте. Огонь он «добыл» так, что сжег себе все колено. Травму пришлось оплачивать отдельно.

Производство спичек мы снимали в Балабанове. Спички делали на конвейере. Видно, горючая смесь была очень горюча. Потому что то тут, то там спички вспыхивали. Было красиво и страшновато.

А в июне мы вернулись к «Секретам» и отправились в Тишково снимать водную жизнь. Я договорился с дирекцией Дома отдыха, и нас поселили на старом речном пароходе. Ранним утром мы брали лодку и плавали по водохранилищу в поисках живописных пейзажей. Оператор у нас теперь был новый — Олег Васильевич Краснов. Помогал ему ассистент Сережа Чернышев. С этих пор мы так и работали: одну картину с Рыклиным, одну с Красновым. Галя была одна и та же.

А Валентина Яковлевна по-прежнему жаловалась на свою маму. Заедала ее старушка. Пилила и жить учила. К тому же на старости лет ей отказали ноги. И моя бедная режиссерша должна была регулярно навещать ее: мыть, стирать, готовить и выслушивать вечно раздраженное бурчание.

В июле Таня уехала в отпуск. К подруге в Одессу. А у меня началась бурная культурная жизнь. В Москве открылся Международный кинофестиваль.

Из письма жене:

15.07.1963 г.

Вечером я был на открытии кинофестиваля. Очень приятно было с независимым видом пройти мимо завистливой толпы пижонов и войти в Кремль. Дворец съездов мне понравился. Сидел я очень высоко, как боги на Олимпе, и президиум для меня выглядел соответственно. Все взоры были прикованы к Жану Маре, к его черным ботинкам и носкам.

Показывали фильм «Знакомьтесь Балуев!» — полная мура — и «Четыре дня Неаполя» — хороший фильм. В перерывах публика (сливки и сметана общества) демонстрировала свои туалеты. С Жаном Маре столкнулся на лестнице. Кончилось все дождем и грязью.

В следующие дни я дважды бывал во Дворце спорта на внеконкурсных фильмах. Один раз купил билет с рук, второй — по удостоверению. Смотрел венгерский «Голый дипломат» — отрава, американский «Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро — смешно, — и английский «Небо всевышнее» — публика с него уходила валом, но картина в английском духе. Вчера пропустил возможность (если она была) посмотреть «Вест-Сайдскую историю» — в субботу в Союзе продавали билеты во Дворец Съездов, но я не успел. Пока что все, кто видели, утверждают, что это лучший фильм. На «Мосфильме» его показывали 2 дня, ваши все видели.

11 июля в Доме кино был на конкурсном показе наш «Тук-тук». Валентина Яковлевна, забросив все дела, бешено заканчивала платье. Она стояла на сцене вся красная от волнения, а Марьяна Таврог представляла все делегации. Володя Рыклин тоже был на сцене, а я прятался на балконе. Но, в общем, фильм успеха не имел.

Из письма жене:

23.07.1963 г.

...Конечно, мне понравились все фильмы Крамера и «Восемь с половиной».

Это глубокий, умный и интересный фильм. Народ его не понимает. Он, действительно, очень сложный: реальность почти без переходов (они едва заметны) перемежается воспоминаниями и представлениями героя. Это о режиссере, временно потерявшем себя. Я думаю, фильм купят — как-никак первое место. Но видела бы ты рожду Романова, когда Чухрай (тоже грустным голосом) присуждал первую премию Феллини. Это удар по всей ихней идеологической борьбе. Говорят, что иностранные члены жюри в один голос потребовали первой премии для этого фильма, угрожая выходом из жюри. И нашим пришлось отступить. Под скрежет зубовой все делали довольный

вид. Я смотрел «Восемь с половиной» во Дворце спорта, Выступал сам Феллини. Была и Джульетта Мазина. Вся в черном, а волосы желтые. Им устроили овацию, публика кинулась к сцене, и слушала его стоя. Это было трогательно.

После «Скованных цепью» публика, стоя, аплодировала Крамеру, негру Сиднею Пуатье — исполнителю главной роли. В общем, было интересно. Вся студия в эти дни не работала, а ходила на дневные просмотры, доставала билеты, обменивала их и узнавала — где что идет?

Но все хорошее когда-нибудь кончается. И иногда начинается... лучшее. Меня ждали дальняя дорога и прекрасные осенние дни на юге. Мы ехали туда через Киев.

С нами ехала моя мама. Она хотела погостить у брата и племянниц. Нас провожал папа.

Веселье началось, когда поезд тронулся, и выяснилось, что до ночи далеко и хорошо бы поужинать. Только у нас с мамой ничего не было — не подумали. Краснов и Сережа оказались умнее, и пришлось нам пользоваться их хлебосольством. Конечно, была откупорена бутылочка, и я, сытый и довольный, стал приставать к Сереже с его родственником — Григорием Плоткиным. Это был знаменитый еврей-антисионист. Он прославился злобными антиизраильскими брошюрками.

— Сережа! — спрашивал я. — А почему твой дядька ничего не говорит об уставе израильской армии?

Сережа не обиделся, а весело подхватил тему:

— *«Не разговаривать в окопе: могут прострелить руки!».*

Краснов тут же изложил следующий пункт:

— *«Во время боя не бегать на командный пункт давать советы командиру!».*

Ну и я показал свои знания:

— *«Не вступать в коммерческую связь с противником!».*

— А почему? — спросила моя наивная мама.

— *«Не отвечать вопросом на вопрос!»* — предупредил меня Сережа.

— А почему? — опять не поняла мама.

Я проснулся утром, когда поезд переползал через Днепр, и раннее солнце золотило купола Лавры. Я всегда любил эту картину: зеленый город, раскинутый на холмах, и, если приглядеться, темная фигура Владимира Крестителя. Теплый, уютный Киев.

Первым делом мы завезли маму на Соломенку, где жил дядя. А сами отправились устраиваться. Это оказалось ой как непросто! Никто нас в славном городе не ждал. Пришлось полдня просидеть в холле гостиницы «Москва», провести ночь в общежи-

тии, пока милостивая дирекция не поселила нас в приличном номере. Зато на шестнадцатом этаже и в самом начале Крещатика.

Следующие два дня мы провели в Дарнице, на другом берегу Днепра. Что может быть веселого на зловонном химическом комбинате? Да и снимать там нечего — все же закрыто. И все равно мы радовались — хотя бы тому, что через два дня уедем отсюда.

В воскресенье Сережа поехал навещать родственника Плоткина. А я собрался на обед к дяде. Олег Васильевич почему-то долго допрашивал меня:

— А вы точно раньше пяти не придете? Точно-точно?

Интересно, какие планы он строил на этот день. Впрочем, меня это не касалось.

Обратно меня провожал двоюродный брат Борис. Трамвай ехал по Куреневке. Над нами высился темный холм.

— Бабий яр! — показал брат. Мне сделалось неуютно. Кто же не слышал о Бабьем яре!

— Грязь убрали, — продолжал Боря. — А была выше крыши.

Я понял, о чем он говорит. Полтора года назад здесь случилась беда: жидкая глина, которой заполняли яр, прорвала дамбу и обрушилась на жилой район. Погибла куча народа.

— Им же говорили: нельзя строить стадион на месте такой могилы! А они хотели память стереть. Чтобы некуда было придти поклониться душам казненных. Вот Бабий яр и отомстил!

В понедельник мы поехали в колхоз — снимать помидоры. Снимать там оказалось особо нечего: огромное поле было усеяно чахлыми кустиками и мелкими томатами. Уборкой занимались редкие не то школьники, не то студенты.

— А где же колхозники? — наивно спросил я.

— В городе, — ответили мне. — Никто надрываться на земле не хочет.

— А что же будет с этим урожаем? Ведь осень же.

— Запашут...

Кривобокая советская система проковыляла по этому полю. Рассадку весной сажали машинами. Механизатором, видно, платили за гектары. А машин для уборки не было. И рабочих рук тоже.

Грустили мы недолго. Нас ждал праздник — купание в Днепре. Чуден Днепр! — ну это и так все знают. Только он, и правда, хорош. Вода чистая, прозрачная, песочек мелкий, прогретый солнцем.

Из письма жене:

31.08.1963 г.

Пляж здесь роскошный. Вода теплая и чище, чем в Москве-реке. Но киевлянки все, как на подбор, годятся в невесты Гаргантюа. Ну и здоровы же они! Удивительно милые, юные лица, но животы и бедра, как у сорокалетних женщин, имеющих минимум троих детей. На пляже все их прелести вываливаются наружу, но что делать: девушки без животика здесь не смотрятся. А уж говорят они — мать моя! Все, как одна, колхозницы-ударницы. Ужасно их простит украинская речь (Вот он — русский шовинизм!).

«Чух-чух-чух!». Это я вспоминаю, как поезд вез нас в Харьков, а потом в Лисичанск. Он не торопился, да и мы тоже. С некоторых пор я полюбил вагонную жизнь. Все дела перед отъездом сделаны, командировочные хлопоты — впереди. А пока знай себе покачивайся в такт рельсовым стыкам, да смотри в окно на проплывающие сады с аистовыми гнездами. И слушай очередную историю моего бывшего режиссера:

— *Помните, как в финале фильма Эйзенштейна броненосец под красным флагом проходит сквозь строй кораблей Черноморской эскадры. Но сначала эскадра должна была дать предупредительный залп по восставшему «Потемкину». Пришлось обратиться к самому наркому, и тот отдал приказ боевым кораблям выйти в море и разок стрелнуть из орудий. На берегу установили несколько камер, пригласили на такое зрелище высокое начальство с домочадцами. Пока корабли строились, а операторы возились с аппаратурой, Сергей Михайлович развлекал знатных гостей. И надо же: одной даме пришло в голову спросить, а как будет дана команда для общего залпа?*

— *А вот как! — поспешил разъяснить благодушно настроенный режиссер. — Махну белым флагом. Вот так!*

И он показал: как. И через минуту все увидели поднимающиеся над горизонтом тучи дыма. А потом услышали грохот...

Повторить залп эскадра не имела права...

В Лисичанске к нам должен был присоединиться молодой практикант — студент ВГИКа Саша Рацимор.

— Валентина Яковлевна! — приставал я к режиссеру. — Зачем нам этот балованный барчук! Начнет выпендриваться, невесть что из себя строить...

— Как вам не стыдно! Человек только что пережил такое горе! У вас же самого отец сидел!

Ну да. Я слышал, что Рацимор-старший попал «под раздачу» во время очередного разоблачения торговой номенклатуры. Но это вовсе не значило, что недавнее несчастье обязательно облагородило давно устоявшуюся натуру элитного вундеркинда. Как-никак его бабушкой была Лидия Ильинична Степанова — пятикратный лауреат Сталинской премии. Та самая Степанова, которая погорела вместе с Зямой Фельдманом, но которая уже успела стать примой «Моснаучфильма». Даром что ли именно ей поручили снимать фильм о Первом конкурсе имени Чайковского!

Конечно, я попал пальцем в небо. Саша оказался славным парнем, покладистым и добродушным. И очень компанейским.

— А что вы хотите? — говорил он. — Я же вырос в коммуналке на восемнадцать семей! С одной ванной, одним туалетом, зато таким коридором, по которому дети разъезжали на велосипедах и самокатах, а мамы выгуливали детей в колясках. Кто здесь только не жил! И алкоголики, и шизофреники, и паралитики, и даже человек с дырой в горле! А какие славные скандалы у нас были! Из-за электричества в местах общего пользования. Никак не могли поделить киловатты. Причем каждый кричал: «Я не из жадности! Я из принципа!». Кастрюли закрывали на замки, а корыта приковывали цепями.

Когда его спрашивали, почему он не взял фамилию матери и бабушки, он честно отвечал:

— Я каждый день бреюсь и вижу себя в зеркале. Ну, какой же я Степанов!

Бабушку Лидию Ильиничну он боготворил. Что не мешало ему рассказывать про нее анекдоты.

— Гуляет она как-то по Одессе. Со всеми своими сталинскими значками. И захотелось ей попасть на Привоз. Остановила прохожего: как, мол, найти этот Привоз? Тот, конечно, вопросом на вопрос: а зачем вам? — Просто посмотреть.

— Мадам, говорит, лучше вам там не светиться. В одну минуту оторвут ваши цапки вместе с грудями!

Сережа Чернышов охотно подхватывал тему:

— А я со старушкой Степановой работал на Конкурсе Чайковского. Вкалывали по-черному, ночи напролет, группа с ног валилась. А Лидия Ильинична хоть бы хны! Только румяна на щеках подправляла. А утром говорит мне: «Сережа, я свою честь могу доверить только вам!» И я провожал ее по темной еще Москве. По дороге она спрашивала: «Сережа, как по вашему, кому надо присудить первую премию?». «Мне больше всех нравится этот американец... Ван... как его...».

«Клиберн, — подсказывала старушка. — Значит, так и поступим!».

В Лисичанске мы не только разговаривали, мы еще и снимали. Всякие реакторы, колонны и прочую химическую хренотень. Показывали, какие сложные процессы протекают в живой клетке.

Теперь Валентина Яковлевна подзывала к камере Сашу. Все-таки будущий режиссер. Саша прилежно смотрел в окуляр и восторженно восклицал:

— Это находка!

Или:

— Элегантно, как рояль!

Почему у меня так не получалось?

Снимали мы все, что движется. Пар, выходящий из колонн, дрожащие стрелки приборов, желтые факелы над заводскими трубами — «лисьи хвосты». Откуда нам было знать, что через два года Антониони сделает этот ядовитый дым символом разрушения мира в своей «Красной пустыне».

А между тем до нас дошло, что в соседнем Рубежном делают нейлоновые носки мечту советских мужчин.

— Надо брать! — сказал Рацимор.

— Я не пойду! — отнекивался я. — Неудобно...

— Неудобно штаны через голову надевать!.. У вас есть студийный бланк? Пишите!

— *Киностудия «Моснаучфильм» снимает картину... — нет, добавьте — актуальную картину о достижениях отечественной химической промышленности. Для демонстрации достижений просим отпустить двадцать пар нейлоновых носков производства вашей фабрики!*

— Двадцать пять! — поправил его Краснов.

И они с Рацимором отправились в Рубежное. Вернулись с полной коробкой.

Каждому досталось по пять пар.

«Вот кому надо быть директором!» — подумал я о Рациморе. Забывая о том, что скромность украшает большевика, но не режиссера.

Саша Рацимор вырос в киношной среде. Поэтому он был кладезем всякого рода легенд и анекдотов. В наш последний вечер в Лисичанске, оторвавшись от преферанса, он поведал очередную байку:

Сталин просматривал все номера киножурнала «Новости дня» Держал руку на пульсе, так сказать. И вот как-то раз ему привезли очередной выпуск. Только тест в нем читал не диктор Леонид Хмара, к которому Сталин привык, а Юрий Левитан. Сталин посмотрел и сказал: «Хороший журнал, очень хороший журнал. Скажите, а

что случилось с товарищем Хмарой? Нет, я против товарища Левитана ничего не имею, но что случилось?». Ему отвечают, что Хмара в отпуске, в Сочи. «Жаль, — говорит Сталин, — был бы еще лучший журнал». Встал и ушел. И вот Хмара лежит на пляже с женой и дочкой, немного приняв перед этим «Изабеллы». Открывает глаза, а над ним стоят двое в шляпах и макинтошах и спрашивают: «Товарищ Хмара?» Что там, на песке, после этого осталось, я не знаю. Но Хмару сажают в военный самолет, и видя, в какое состояние он пришел, дают ему коньячку и привозят в Москву, в дикторскую кабину на Хронике. Там он читает текст, после чего эти двое снова сажают его в самолет, везут обратно в Сочи и кладут на то же место на пляже. Новый выпуск киножурнала везут Иосифу Виссарионовичу, тот смотрит и говорит: «Все-таки товарищ Хмара очень хорошо читает. Замечательный журнал, спасибо, товарищи».

Нам с Валентиной Яковлевной пришлось завернуть в Москву — запуститься с сюжетом о языке обезьян для журнала «Хочу все знать». Буквально на другой день мы вылетели в Адлер.

С нами была Галя. Всю дорогу она просидела с приготовленным гигиеническим пакетом. Но удержалась. Мы благополучно приземлились, и я, наконец-то, свободно вздохнул.

— Вот видишь! — сказал я. — А ты боялась!.. А вон, смотри, самолетики едут!

Галя посмотрела в иллюминатор... Да, надо знать, когда можно тормозить человека, страдающего от «морской болезни».

До Сухуми мы добрались только на следующий день. Пришлось заночевать в гостинице аэропорта. Всю ночь бушевала гроза. Такого ливня я до той поры не видел. Но утром тучи ушли, и солнце заявило, что праздник жизни продолжается.

Нас ждал обезьяний питомник и воссоединение с мужской частью группы. Галю и Валентину Яковлевну поселили в Доме для приезжающих, а нас отправили на постой к местному работнику. Жилище его сверкало новизной. Первый этаж был сложен из больших камней, а второй, деревянный, просторный и уютный, еще хранил запах свежей краски. Потом мы узнали, что постройка своего дома — цель и содержание жизни каждого аборигена.

Из письма жене:

30.09.1963 г.

Мы провели день в обезьяньем питомнике, познакомились с обезьянами, привыкали друг к другу. Нас теперь впускают в вольеру, обезьяны едят с наших рук, а детеныши

забираются на одежду и вытирают липкие от повидла руки о мои сандалии.

Снимать обезьян трудно, они такие актеры, которые не дадут спокойно радоваться жизни. Из 18 звуков, записанных в диссертации, на которой основан сценарий, мы заметили только 3. Большие, по-моему, никто не слышал. Да и есть ли они — бог его знает. Это очень удобно: пиши диссертации — проверить все равно никто не может, Снимать обезьянью жизнь сюжетно просто невозможно. Они ни минуты не сидят на месте, грызутся, носятся по вольере, пищат. В вольере, где мы снимаем, 48 обезьян: 15 детенышей, остальные самки. И на всю стаю один самец — Муррей, маленькая копия льва. Это полный хозяин стаи, повелитель гарема. И самки яростно дерутся из-за его благосклонности. Мне сразу вспомнились «Восемь с половиной». Маленькие хвостатые обезьянки похожи на бесенят с длинными хвостами, Они прыгают на нас, лезут в карманы, берут конфеты и виноград из рук.

Нас сразу предупредили, что в вольере надо вести себя осторожно. Обезьяны пугливы, но непредсказуемы. Самка может прийти в ярость, если что-то угрожает ее детенышу.

— Не делайте резких движений! — сказали нам. — И ни в коем случае не замахивайтесь на малышей! Ну, а если уж очень достанут, оденьте белый халат — они сразу разбегутся.

«Э, голубчики, — подумал я, — видать, бедным обезьянкам есть чего бояться!».

Так мы и снимали, стараясь не дергаться. Даже когда хвостатый чертенок залезал на голову режиссера и собирался пустить струю ей за воротник.

— Валентина Яковлевна! — просил я. — Не шевелитесь! Я сейчас!..

И осторожно снимал гаденыша, стараясь не смотреть в глаза его напружинившейся мамаше. И так же несуетливо отнимал аккумулятор у резвившихся бесенят. Я понял, что не люблю обезьян.

Что нас примиряло с ними, так это их привычка ровно в полдень спастись от жары в густых ветвях. Все! — мы могли быть свободны до следующего утра. И мы с легким сердцем отплывали на катере в Синоп — купаться и загорать.

Я пристрастился плавать с маской. Особенно интересно было возле камней, облепленных водорослями. Среди них шныряли проворные рыбешки и лениво колыхались медузы. Мне казалось, что я целиком погружаюсь в стихию другого мира, ухожу от повседневной суеты. Я раскидывал руки, и волны качали меня, уговаривая уснуть.

— Спрячь попу! — кричала Галя. — А то странно смотреть: возле берега плавают брошенная кем-то попа! — объясняла она потом.

Вечером мы возвращались в Сухуми.

Из письма жене:

2.10.1963 г.

Привет вам от зеленого Черного моря!

Сегодня мы лежали на пляже, купались, потом плыли на катере в Сухуми. Солнце садилось, темнела вода, у горизонта золотились ребристые облака. У пирса стоял белоснежный «Нахимов», а рядом с ним, словно утки, покачивались на волнах маленькие суденышки. Красиво! Я твердо решил: пусть меня похоронят в море (когда-нибудь потом) — уж очень оно красивое! Наша любимая поговорка сейчас: «Кто не любит море, тот не человек».

Но уже холодает. В воде не понежишься, с моря дует ветер, небо часто хмурится, идут дожди.

Сухуми не Ялта. В нем нет ее обаяния. И все-таки я привыкал к этому шумному, бестолковому городу с его мохнатыми пальмами и запахом шашлыков. Я даже придумал не то стих, не то песню:

*Привыкли мы с вами к очередям и спорам,
И к длинным непонятым грузинским разговорам.
Едим мы сыр Сулгуни и пьем вино сухое,
И все куда-то мчимся, и мечтаем о покое.
И солнце, и море мы в памяти своей
(Клянемся — вернемся!)
Сохраним на много дней!
Сухуми, Сухуми,
Волна ласкает пляж,
Сухуми, Сухуми,
Хороший город наш!*

Я успел полюбить хачапури на завтрак — еще горячее, с куском растопленного масла. И кофе по-турецки, которое варил старик на причале. Он колдовал над утопленными в раскаленном песке стаканчиками-турками, переставлял их с места на место и в какой-то, ведомый лишь ему, миг переливал в крохотные чашки. Вкусно было до умопомрачения.

Настал день расставания с Валентиной Яковлевной. Она должна была лететь в Москву, а оттуда — в Италию. Она купила в Союзе туристическую путевку. По-моему, она в первый раз собиралась за рубеж.

Но как неохота было тащиться в Адлер — провожать ее! Слава богу, удалось уговорить Сашу Рацимора. Обещал ему три бутылки грузинского.

Пили их в Амре — ресторане на морском причале. Пришли, с твердым намерением посидеть скромно. Заказали три бутылки вина и две жареных форельки. Грузины за соседним столом глядели на нас с осуждением. Две форельки на восемь человек! Стало стыдно. Заказали еще три. И еще три бутылки. Стало легче. Саша Рацимор произнес грузинский тост:

Черепаха и Серый Кролик решили бежать наперегонки через пустыню.

— Бежим!- скомандовал Кролик и умчался. *Черепаха* припустила за ним.

Через какое-то время Черепаху обогнал Кролик. — Это ты? — удивилась черепаха. — Я сын Серого Кролика!.. Еще через какое-то время черепаху обогнал новый Кролик. — Опять ты? — снова удивилась Черепаха. — Я внук Серого Кролика!.. Это же повторилось и в третий раз. — Я правнук Серого Кролика!..

Наконец Черепаха добралась до края пустыни. У куста сидел Рыжий Тигр. Перед ним тянулся ряд аккуратных холмиков, над каждым из которых торчали серые ушки.

— Так выпьем за тех, кто живет не спеша!

В конце вечера стол был завален рыбьими хребтами и заставлен бутылками. Мы братались с грузинами и хором пели:

— Расцветай под солнцем, Грузия моя!

Домой мы возвращались, не замечая дороги. Любовь к миру переполняла меня. Я обнимал телеграфный столб и декламировал:

— Сухуми, Сухуми, хороший город наш!

Потом я пошел провожать Галю в ее питомник. Ночь была прекрасна. Звезды были прекрасны. Галя была прекрасна. Я чувствовал, как ощущение счастья приподнимает меня. Чтобы не улететь и приобнял ее за плечи.

— Галя! — сказал я. И вдруг понял, что камня, который давил на меня после возвращения из Дома отдыха «Актер», больше нет. Свалился! Я был свободен от сладкого, но утомительного бремени.

— Галя! — сказал я. — А давай выпустим на свободу обезьян! Всех! Я знаю, как открываются клетки!

Руку мою Галя сняла, но была явно воодушевлена.

— А что! Они же привыкли получать корм от людей! Вот они и пойдут в город! Представляешь! Обезьяны в магазинах, обезьяны на рынке, обезьяны на набережной!

Дома я встретил спешащего куда-то звукотехника Володю Лучанинова.

— Куда ты? — спросил я.

— В ту... в ту... в туалет... — ответил Володя. И вывалился в окно.

Боже мой! Мы жили на втором этаже, но внизу была выложенная булыжником дорожка и острый частокол цветника. Я, насколько позволяли ноги, бросился вниз. Володи не было.

— Уже увезли? — подумал я. Но он шел мне навстречу — явно живой. И кровь с него не текла.

— Как же ты? — спросил я.

— Успел! — ответил он. Я посмотрел на булыжную дорожку. Между ней и частоколом был промежуток сантиметров в двадцать. Как он ухитрился в нем уместиться?

Неожиданно вернулась Валентина Яковлевна. Ее не пустили в Италию. Райком не утвердил. Это было неожиданно даже для Советской власти. Ведь Попова же была депутатом Моссовета! Скольким людям она помогла. И не только студийным. Я сам видел благодарственные письма от жителей района. Люди получали квартиры — при том, что сама она жила в коммуналке. Но видно клеймо бывшей жены иностранца оставалось несмываемым.

Я уезжал из Сухуми с сожалением. Море остыло, но дома и деревья еще хранили тепло южного лета. На рынках появился виноград, в садах зеленели мандарины. И кипарисы, и магнолии — когда это все снова будет?

*Когда над Арбатом тоскливо бродит ветер,
Когда снег холодный покрывает все на свете,
Мы в звоне мороза, в нормальном зимнем шуме
Вдруг слышим, как кто-то тихо шепчет нам: «Сухуми!»
И солнце, и море мы в памяти своей
(Клянемся — вернемся!)
Сохраним на много дней!
Сухуми, Сухуми,
Волна ласкает пляж,
Сухуми, Сухуми,
Хороший город наш!*

Наступил 1964-й год. И пришло время определяться: кем быть? Что большого директора из меня не получится, понял уже не только я. Быть режиссером на нашей студии — не больно-то и хотелось. Видеть мир по-новому — как Сеня Райтбургт — мне было не дано. А тащить в кино казенный скarb старого — как сутеевы, усольцевы, кус-

товы и иже с ними — душа не лежала. Да и не смог бы. Они ведь тоже были титанами в своем роде.

Посещала мысль пойти в НИКФИ — заняться экономикой кино. И еще был вариант: заочное отделение сценарного факультета. Даром что ли Виктор Миронович Злотов все время примерял мои пробы пера ко ВГИКу. И мой друг Миша уговаривал меня.

В то лето мы снимали дачу в Черепкове. Это такая деревушка на Рублевском шоссе — там, где теперь Кардиоцентр. Мой папа работал там заведующим сельпо.

Однажды я увел Таню в чисто поле и спросил ее совета.

— Решай сам! — уклончиво отметила она. — Я понимаю: для дома у тебя времени не останется. Но как-нибудь справлюсь.

И я решил. Собрал свои опусы, в том числе сценарии двух принятых на студии сюжетов ХВЗ, и отвез в приемную комиссию. Скоро пришло письмо, что я прошел творческий конкурс и допущен к приемным экзаменам.

Но все это было параллельно работе. А работали мы как раз над моим сценарием. Снимали сюжет «Чудесные огни». О фейерверках. Я понимал, что ударить лицом в грязь не имею права и рыл землю копытом. Договорился с пиротехниками на «Мосфильме», и они приготовили всякие огненные фокусы. Съездил в военную часть, которая устраивала салюты в Москве. Получил разрешение на съемку 1-го мая на Красной площади. Раздобыл старинные гравюры с потешными забавами. В общем, старался.

1-го мая я собрал на Красной площади все родных и знакомых кролика (видите, я уже на «ты» с Винни-Пухом!), обещая им фантастическое зрелище. Я же просил генералов запустить заряды помощнее. Зрелище, наверное, и в самом деле было поразительным — только где-то там, за облаками. А снизу было видно, как они становились розовыми, зелеными, фиолетовыми. А я ведь деньги платил.

Пришлось искать салюты в фильмотеке.

А потом мы начали действительно интересный фильм — «Открытие шестого чувства». Игорь Иванович Акимушкин написал сценарий по своей книге о способности к навигации у птиц и насекомых.

Снимать решили на студийной зообазе в Петушках и на биостанции под Калининградом. Но сначала собрались на осмотр зообазы.

Вы когда-нибудь опаздывали на электричку? Ну, для меня это дело привычное. Летишь себе, сломя голову. А в голове трепыхается мысль: «Почему же ты не мог встать раньше! Ведь тебя же группа ждет!». И вспоминаешь все утренние часы, когда ты, задыхаясь, влетал в проходную, отпихивал Кабыздоха и думал: «Ну, конечно. Краснов уже стоит на крыльце! Как статуи! Как каменный гость какой-то! И, конечно,

сразу же начнет обличать!». На этот случай у меня был заготовлен отработанный прием. Первым делом подбежать к нему и, не дав прорваться праведному гневу, быстро-быстро восхититься: «Ой, какая классная рубашечка! Где же прикупили? И почему?». Лицо Краснова из красного постепенно становилось обычного цвета необожженного кирпича. Он несколько раз затягивался сигаретой. Он всегда так делал, прежде чем заговорить — думал медленно. А спущенный пар уже не так страшен. Мне весело подмигивал друг Миша, прижатый к стенке собственным отцом. Папа при каждой встрече учил его жить. Миша был терпелив и послушен. А в проходную входила наша Галя с мужем Николаем. Какая красивая пара! — каждый раз думал я.

Но дуракам везет. Как-то раз я опоздал больше обычного, и Валентина Яковлевна сама получила в диспетчерской автобус, и группа уехала на съемку без меня. Что было делать? Пришлось взять такси. «Куда? — спросил водитель. — На Пироговку!» — внятно объяснил я. Я знал, что съемка должна быть в каком-то биологическом институте, но, убей, не помнил, в каком. Приехали на Пироговку. «В этот переулок!» — наугад подсказал я. «А теперь — в этот!». И надо же — тут за углом мелькнул зад студийного автобуса. Нашел!

Так было и на этот раз. Вокзальные часы показывали шесть минут после отправления моей электрички. «Господи, думал я, ведь деньги на билеты у меня! И письмо от дирекции студии!». У платформы стояла какая-то забытая богом электричка. В открытых дверях покачивался несвежий бомж. «А эта — куда?» — приличия ради спросил я. «Петушки, — вяло ответил доходяга.

— В Петушки ушла, — поправил я его.

— Э...з...з...зпаздыват...

Я вошел, благословляя советские железные дороги, и заспешил по вагонам.

Поезд в ту же секунду тронулся. Моя группа глазам не поверила.

— Откуда вы взялись? — спросила режиссер.

— Всегда здесь был! — нагло соврал я.

Билетов у них, конечно, не было. И бедная Валентина Яковлевна всю дорогу дрожала мелкой дрожью:

— Сейчас контроль пойдет! Позору не оберешься!

— Валентина Яковлевна! — успокаивал я ее. — Штраф буду платить я!

Зообазы были гордостью студии. Ее содержание обходилось достаточно дорого, но оно того стоило. Здесь свои лучшие фильмы снимали наши корифеи: Згуриди, Долин, Бабаян, Нифонтов. Большая территория позволяла строить просторные вольеры,

где звери смотрелись, как на воле. И здесь же можно было спокойно снимать крупные планы хищников и последние судороги их жертв, Что так любил показывать Александр Михайлович Згуриди.

Командовал звериным хозяйством Шубин. Бывший разведчик и партизан, он был суров и молчалив. Но встретил нас достаточно приветливо. Показал лисиц и медведей, зайцев, рысь и своих любимцев волков. Я договорился о жилье, о подсобных рабочих и о строительстве инсектодрома — площадки для эксперимента с муравьями.

Муравьи, оказывается, кусаются. И пребольно. А еще они вездесущи. Вытряхиваешь их из ботинка, а они уже плутают по спине или путаются в волосах. Входя в дом, мы специальным веничком смахивали их с себя. И все равно приходилось сдвигать их с хлеба и внимательно вглядываться в суп.

Обед нам готовила нанятая в Петушках повариха. Готовила день, готовила другой, пока Валентина Яковлевна не прибежала с жалобным стоном:

— Она руки в супе полощет!

— Валентина Яковлевна, где же я другую возьму!

— Лучше я сама буду готовить!

Так мы и жили теперь. Режиссер стояла у плиты, а мы дрессировали муравьев. Они должны были перетаскивать личинки с одного конца площадки на другой, запоминая дорогу. Муравьи ориентировались по солнцу. Нашим «солнцем» была мощная лампа. Стоило переставить ее на другую сторону площадки, и муравьи послушно меняли направление. Соображали.

Олег Васильевич беспокоился за камеру:

— Как бы не заползли!

Он вспоминал, как сберегал свой аппарат в блокадном Ленинграде. Краснов оказался там на практике в 1941-м году. Страшной зимой студентов вывезли на военном самолете.

— Камеру ни в какую брать не хотели: «лишний груз». А потом, после двух часов ожидания, в самолет загрузили два полных ведра. В пути летчики признались: «Речная рыба для семьи Жданова!».

По вечерам на огонек заглядывал Шубин. Он беспокоился за зайцев.

— Старайтесь мимо их клеток лишний раз не ходить! Они с испугу бросаются на сетку и разбиваются в усмерть.

Больше других зверей он любил волков. Хвалился, что без страха входит в вольеру с кормящей самкой.

— Главное, понимать их язык! Губы оттянуты вверх и вниз, клыки обнажены — сигнал угрозы. А губы оттянуты назад — выражение покорности. И еще — уши! Подняты — зверь спокоен. Уши вперед — насторожен. Прижаты к голове — испуган, может со страха укусить...

В нем самом было что-то волчье. Мы с удивлением узнали, что в войну он был награжден тремя орденами Красного знамени. Больше их было только у Ворошилова! Власовская армия выпустила специальную листовку, обращенную к нему: «Переходи к нам на любую должность!». Власовцы, рассказывал Шубин, были сложной проблемой. Полтора миллиона, как-никак! Многие из них охотно вернулись бы к нам, но у нас их расстреливали. Вот они и ожесточились. Под Кенигсбергом целая дивизия не могла взять крохотную деревушку. Генерал вызвал Шубина:

— Голубчик, я тебя раньше в бой не посылал, но сам видишь — дивизия истекает кровью за какую-то деревню. Стыдно перед другими: все ушли вперед, а мы топчемся!

— Хорошо! — сказал Шубин. — Ночью я пойду. Только прикажите артиллерии меня не поддерживать!

Ночью Шубин и его 70 «молодцов» с тыла прокрались в деревню и вырезали ее гарнизон. А состоял он из девятнадцати власовцев. Шестерых из них взяли в плен.

— И чего вы барахтались? — спросил Шубин. — На что надеялись?

— Все равно нам конец, — ответил власовец. — Так еще хоть денек пожить...

В июне мне исполнилось тридцать лет. По сему случаю приехали Таня с Леной. Отметили брусничной настойкой «Паланга», которую мы с Красновым покупали на Центральном рынке. Олег Васильевич привез магнитофон «Комета». И мы слушали его любимые хиты.

Стою я раз на стреме,

Держуся за карман,

Как вдруг ко мне подходит

Незнакомый мне гражданин...

И тогда же в первый раз я услышал бессмертное:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,

Во всех науках знаете вы толк.

А я простой советский заключенный,

И мне товарищ серый брянский волк...

А в июле мы отправились на Куршскую косу. Если кто не знает, это под Калининградом, на границе с Литвой. Коса отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Знаменита она своими дюнами — песчаными холмами, которые медленно движутся, погребая под собой деревни вместе с колокольнями.

Местом нашего обитания стал поселок Рыбачий (бывший Ронинген). Здесь была биостанция, директор которой Виктор Дольник любезно согласился нас приютить и помочь со съемками. Тогда никто еще не предполагал в этом молодом орнитологе будущего академика. И он еще не успел ответить на задаваемые самому себе вопросы: *«Почему многие наши пристрастия странны для окружающих и необъяснимы для нас самих? Почему несколько лет детства значат для нас не меньше, чем вся остальная жизнь? Почему подростки любят собираться в стойкие шумные компании и становятся порой неуправляемыми? Почему любовь ослепляет? Какая форма брачных отношений «естественна» для человека? Откуда берутся агрессивность, страх, соподчинение?..»*.

А пока он кольцевал птиц. Куршская коса лежала на пути весенних и осенних перелетов птиц. Здесь они отдыхали, и здесь их поджидала ловушка — постепенно сужающийся коридор из мелкой сетки. Попавших в ловушку птиц кольцевали и отпускали на волю.

Мы снимали ловушку для рассказа об ориентации птиц в магнитном поле Земли. Тогда эта гипотеза была в моде. А иначе, мол, как птицы находят дорогу ночью и в бессолнечную погоду?

Летом птицы залетали на косу редко, и Валентина Яковлевна попросила Дольника собрать для нас небольшую стайку. По ее сигналу мы должны были выпустить птиц у входа в ловушку. Я держал бедную птичку в ладони и с трепетом чувствовал, как бьется ее сердце.

— Пускайте! — закричала Валентина Яковлевна. А сердце моей птички больше не билось.

— Да ну вас! — сказал я и расстроенный побрел в сторону.

В свободное время мы, с разрешения пограничников, собирали янтарь на пляже. Мелкие матовые камушки.

— Только не наступайте на вспаханную полосу! — предупреждали нас. Граница на замке.

Поселок недаром назывался Рыбачьим. Дважды в день рыбаки выходили в залив. Нужно было успеть передать им клеенчатую сумку и 3 рубля. И тогда по их возвращении приходилось чистить и разделывать судаков и угрей. Угри приплывали сюда на не-

рест аж из самого Саргассова моря. Откуда же им было знать, что в конце пути их будет ждать возмущенная Валентина Яковлевна.

— Что это такое! — ворчала она. — Почему режиссер должен заниматься рыбой!

Приходилось мне вместе с Красновым и Сережей отправляться на бережок и сдирать скользкую угриную кожу.

— Слышали, что Дольник рассказывал? — скрашивал неприятное занятие Сережа. — *Когда-то на биостанции проходили практику студенты. Однажды двое из них, Толик и Бронислав, пошли купаться. И надо же такому случиться: Бронислав стал тонуть. Его товарищ в это время бегал по берегу и беспомощно кричал: «Бронислав, плыви! Бронислав, плыви!». Но в воду не лез... Через какое-то время в окна домика стало заглядывать что-то белое и глухо шептать: «Толик, ай-ай-ай!».*

— Толик, ай-ай-ай! — в один голос запричитали мы с Красновым.

Надо сказать, что жареным угрям мы отдавали должное. Жирноваты, правда. Но в те времена некоторые еще не знали, что у них есть поджелудочная железа.

Ели мы и копченых угрей. Бочки для копчения дымили в каждом дворе. И стоил такой угорь — трудно поверить — всего один рубль!

В Москву мы возвращались на машине. По дороге заехали в Вильнюс. Помню себя стоящим в центре какого-то окраинного двора. Нам сказали: «Ждите! Вам покажут!». И дальше все было, как в плохом детективе. Из-за угла выходила тетка, доставала из сумки вязаную кофточку или свитер, поворачивала во все стороны и скрывалась за другим углом. Так повторилось раза три. Уехали мы с облегченными кошельками, но с обновками. Синий в полоску джемпер Таня носила много лет.

В августе я сдавал вступительные экзамены во ВГИК. Набрал 23 балла из двадцати пяти. На творческом собеседовании меня допрашивал Алексей Каплер. Да, да, тот самый, который «Ленин в Октябре» и «Синяя птица». После обязательной игры в «Угадайку» по фрагментам мировой живописи Алексей Яковлевич удивил меня неожиданным вопросом:

— *А как вы относитесь к «Великолепной семерке»?*

Я не стал скрывать, что в принципе не имею ничего против жанра вестерна. И что эта увлекательная картина с харизматичным Юлом Бриннером не так уж проста по смыслу. Она показывает, как под влиянием благородной цели меняются характеры людей, как вчерашние авантюристы, искатели острых ощущений и закоренелые индивидуалисты превращаются в борцов за справедливость. И еще я сказал, что, по-моему, эта картина одинаково близка зрителям разных стран и народов.

Судя по оценке, мой ответ Каплера удовлетворил. Но существовала еще так называемая мандатная комиссия.

— Зачем вам второе образование? — спрашивали меня. — Да еще в том же вузе!

— Пишете сценарии — ну и пишите на здоровье!

— У государства нет лишних денег!

Нашлись люди, которые вступились за меня.

— Да он же наш! — сказал бывший капитан Никифоров с бывшей военной кафедрой (светлая ему память!).

— Наш! Наш! — поддержал его кто-то.

В общем, приняли. И я с легким сердцем повез группу в Сухуми.

Из письма жене:

21.10.1964 г.

Я жив и невредим. Долетели мы благополучно, первую ночь провели на частной квартире. На следующий день устроились в гостинице «Рица». Это у самого моря. Правда, наши окна выходят во двор, где готовят шашлыки, мы пропахли кухонным чадом, и все время хотим есть.

Со съемками много тревог. Первые дни была неопределенная погода, потом стало безоблачно, но вдруг случилось несчастье — стали умирать обезьяны. Причина смерти до сих пор не ясна, в питомнике объявлен общий карантин, такого за всю его историю еще не было. Конечно, нас погнали вон. И только сегодня полуобманом мы проникли внутрь и сняли почти все. Что будет завтра, не знаю.

За дни карантина дважды ездили вдоль моря — в Очамчире и в Новый Афон. В Афоне очень хорошо.: огромный залив вроде Голубого, только гораздо больше. Народа никого нет, Говорят, что летом там тоже никого нет... Сказать по правде, сейчас мы приехали поздновато. Море — 18 градусов, не душно. Такого удовольствия, как в прошлый раз, я не получаю.

Для чего мы снимали обезьян, убей бог, не помню. Зато хорошо помню огромную пещеру в Новом Афоне и пацху в тех же местах. Пацха — это большая хижина, сплетенная из толстых веток. Посреди хижины — очаг, а над ним — коптящиеся оковалки аппетитного мяса. Тебе отрезают подходящий кусок, нанизывают его на шампур, и ты сидишь у очага и крутишь мясо над огнем. Слюна капает в очаг. Потом тебя сажают за досветла выскобленный стол и шлепают перед тобой горку лобии со вставленным в нее куском сулгуни. Из люка в полу достают кувшин с молодым вином. И через пять минут

ты уже не понимаешь, как это можно жить без песни! Твой немелодичный голос вплетается в общий хор. Никогда раньше не слышал, как Валентина Яковлевна поет...

Как-то раз я возвращался в гостиницу и обратил внимание на небольшую толпу в черном.

— Кого хоронят? — спросил я.

— Лакербая, — ответили мне.

— А кто он?

— Поэт.

Поэта надо провожать стихами! — решил я. И за оставшиеся сто шагов родил короткую эпитафию (или эпиталаму — кто их разберет).

Вай, вай, вай,

Умер, умер Лакербай!

Принесли его в избу

В белых тапочках в гробу,

И кричит народ, рыдая:

— Жалко, жалко Лакербая!

Помню тихий вечер. Мы сидели на лавочке над морем. Галя дымилась сигаретой. Сережа крутил транзистор — большую в те времена редкость. Сквозь шум глушилок вдруг прорвался ясный и громкий «Голос Америки»:

«У здания ЦК на Новой площади наблюдается большое количество черных лимузинов. Источники сообщают о внеочередном пленуме Центрального комитета. Речь, как будто, идет о судьбе Генерального секретаря...».

Так в наш медвежий угол дошла первая весточка о снятии Хрущева. По правде сказать, Никита нам к тому времени изрядно надоел. С его нарождающимся культиком, кукурузой и колхозницей-ударницей Загладой, которая учила сталеваров, как варить сталь, поэтов — как писать стихи, а режиссеров — как и какое снимать кино. Кто же знал, что вместе с Никитой уходит короткая пора относительной свободы и зыбкие надежды на светлое будущее. На целые двадцать лет замораживалась оттепель.

В октябре начались занятия во ВГИКе. Из нас, студентов-москвичей, была сформирована вечерняя группа. Мы должны были заниматься три дня в неделю. Это было уже серьезно. Лекции, семинары, курсовые работы — покой нам только снился. На мою бедную голову свалились история литературы, история кино, теория драматургии, русское и зарубежное изобразительное искусство, не считая всяких диаматов, истматов, политэкономии. И конечно сценарное мастерство.

Старостой группы была назначена Инна Рабкина. Скандально известная Инна. В первый раз я услышал о ней от студийных подруг, собиравших подписи под письмом протеста. Они возмущались тем, что пришедшая совсем недавно на должность табельщицы Инна была скоропалительно переведена в ассистенты режиссера — да еще и первой категории. Другим на это потребовались годы. Инна это умела — стать протеже начальницы отдела кадров, «мамы Клавы», и проскочить сразу несколько ступенек карьерной лестницы. Средствами она не брезговала. Хорошо помню, как на вступительном экзамене по литературе меня отвлекала от дела ее голая коленка, слегка прикрытая тетрадкой с готовым сочинением. Списывала за милую душу.

При всем при том ей нельзя было отказать в грубоватом чувстве юмора. И не посочувствовать двусмысленному положению в семье. Мужем Инны был второстепенный драматург с соответствующим окружением.

— Когда они собираются, — жаловалась Инна, — меня как будто в доме нет. Спорят, шутят, со мной словом не перемолвятся. Не их круга...

Мы часто ездили в институт вместе. Инна брала меня под руку, и на моем плече надолго оставались синяки. «Железная грудь» — мысленно называл я ее.

В группе нас было человек двенадцать. Очень скоро я понял, что большинству из них нужно было не образование. Они пришли в институт за дипломом. Он должен был подтвердить их право на занимаемые должности: вторых режиссеров на студиях, редакторов на телевидении, заводских журналистов. Мне тоже хотелось подписывать сценарии своим именем, но и сама учеба доставляла мне удовольствие.

Историю искусства преподавала Паола Дмитриевна Волкова. Человек-легенда.

Она рассказывала о великих художниках прошлого так, будто сама стояла рядом с ними за мольбертом, сама жила их жизнью. И я ей верил — ее культуре, ее обаянию нельзя было не поддаться.

Экзамен по русскому искусству мы сдавали в Третьяковке. Мне досталось «Явление Христа народу». Я рассказал все, что тогда было положено знать об этой картине: о поисках Ивановым «мировой идеи», о возможном сближении с Герценом.

— А в чем главная трагедия Иванова? — спросила меня Паола. Я стал что-то лепетать о разочаровании в религии, о «перегорании» темой.

— Зайдите в соседний зал! — предложила педагог. — Посмотрите на эти этюды! Разве вы не видите, что это чистой воды импрессионизм? Иванов прошел мимо сделанного им открытия: мгновенного впечатления от увиденного пейзажа — того, чем позже будут восторгаться любители Моне и Ренуара!

А когда позже я написал курсовую работу об искусстве Ахетатона, Паола Дмитриевна загнала меня в угол и стала убеждать всерьез заняться сценариями на тему искусства.

— У вас это может получиться!

Ах, если бы я мог послушаться ее!

Между тем на студии пошли разговоры о скором переезде. Где-то у черта на куличках, почти в Химках, «Мособлстрой» заканчивал долголетнее строительство нового здания. Рассказывали, что когда-то, вскоре после войны, у нас побывал тогда еще все-сильный маршал Жуков.

— Что это за халупа? — спросил он директора. — Почему не строишься?

— На какие шиши? — простодушно ответил Михвас.

— Пиши ходатайство! — приказал маршал. С тех пор студия все строилась и строилась. Говорили, правда, что это будет «второй Голливуд». С огромными павильонами, натурной площадкой и видом на канал. И даже с плодовым садом. Вот только добираться туда придется на перекладных.

А пока мы с Валентиной Яковлевной запустились с картиной «Где живет твой ум». И гадать не надо — по сценарию нашего дорогого Дорохова! Просто и занятно о работе мозга. Алексей Алексеевич придумал незатейливую аналогию с устройством корабля, где всеми процессами и механизмами управляет боевая рубка — «мозг» корабля. И мы поехали в Ленинград — в Адмиралтейство. Там подумали, подумали и разрешили съемки на учебном крейсере, который должен был отправиться в плавание по Балтийскому морю.

Крейсер стоял в Кронштадте. Два дня мы прожили в гостинице. Брали такси и ездили снимать старые, заброшенные форты. Они густо обросли малиной, и пока Валентина Яковлевна с Володей Рыклиным снимали на пустой площадке все, что осталось от укрепления, мы с Галей ублажали себя сладкой ягодой.

На корабль мы явились, как цыгане: с чемоданами, ящиками с аппаратурой и мешками. В мешках были арбузы. На корабль вели металлические сходни. Что меня поразило: воронки на причальных тросах. Широкой стороной они были обращены к берегу. «Чтобы крысы не забежали!» — объяснили нам. Это не мешало крысам крутиться под ногами часовых, охранявших трапы ракетноосцев. Крысы орудовали и на палубе крейсера. А одну из них водили на поводке матросы. Нам говорили (не знаю, правда это или нет?), будто за десять пойманных грызунов давали недельный отпуск.

Мужскую часть группы разместили в библиотеке, а женщин поселили в свободной каюте. Вечером с нами познакомился командир крейсера. Коренастый, но ладный крепыш, он сразу подавил меня внутренней мощью. Капитан первого ранга, как-никак! Он с удовольствием угощался арбузами, а с еще большим удовольствием поглядывал на Галю. «Я пропала!» — шепнула мне она.

Ближе к ночи на крейсер прибыл адмирал. Его встретил строй почетного караула и звук фанфар. И почти сразу же начали готовиться к отплытию.

Ночь мы почти не спали. И не только из-за предпоходной суеты. Несколько раз нас будили пронзительные звонки. Тревога! Бедных курсантов (а их было 300 человек) вырывали с коек и заставляли отражать атомное нападение. Они летели, сломя головы, по трапам, на ходу облачаясь в защитные комбинезоны. Пока они занимали боевые посты, до нас доносилась заглушаемая противогазами ругань офицеров. После команды «Отбой!» курсанты долго поливали друг друга из шлангов — смывали «радиоактивную пыль». Так повторялось через каждые 5-6 часов.

Утром мы плыли уже в открытом море. Берегов не было видно, поэтому о скорости можно было судить только по бурунам от винтов. Впрочем, заниматься этим было некогда. Мы снимали в рубке: командира, вахтенного офицера, рулевого за штурвалом, компас, радары. По нашей просьбе старпом передавал команды в машинное отделение: «Тихий ход!», «Полный вперед!», «Самый полный!» — или что там еще положено. Рулевой крутил штурвал, потом Валентина Яковлевна смонтирует это с отклонениями бурунов за кормой. В общем, «мозг корабля» работал.

А когда мы захотели снять ход крейсера со стороны, нас одели в ватники и посадили в катер. Мы поплыли втроем: Я, Володя Рыклин и ассистент оператора Гриша Поляк. Гриша один из немногих ассистентов не учился во ВГИКе. Поэтому у него почти не было шансов стать оператором. Зато он был хорошим фотографом. У меня до сих пор хранятся снимки, сделанные им на корабле.

Крейсер со стороны казался устрашающе грозным. Но когда нам показали орудия главного калибра, оказалось, что они давным-давно непригодны для стрельбы. Корабль дожидался списания.

Мы снимали стрельбу из скорострельных зенитных орудий. Туда вставляли обойму их десяти снарядов. Бум-бум-бум! — выстреливала пушка. Ах-ах-ах! — приседали в такт режиссер и ассистент. А высоко в небе вспыхивали огненные шары. Красивей любого салюта.

Обедали мы в офицерской столовой. Завтрак был самый скромный: чай и пара печеньиц. Зато обедов было целых два! Я потом узнал, что таков порядок на любом корабле. Кормили хуже, чем у летчиков в Полярном, но тоже ничего.

По вечерам мы сумерничали с командиром. Доедали арбузы и разговаривали на интеллигентные темы. Все-таки не каждый день на флоте гостят киношники из Москвы. Командир смотрел умными глазами и деликатно сплевывал семечки. Галя тихо млела.

Однажды в начале ночи я забрался на самый верхний мостик — откуда впередсмотрящий кричит: «Земля!». Меня словно поглотила черная бездна. Только слабо светила дверь рубки, да издалека доносился мерный гул — работали машины. На свете были только я и звезды.

— Любуетесь? — раздался негромкий голос. Командир неслышно поднялся с палубы. Я вздохнул от глубины души и тихонько побрел в свою библиотеку. Только теперь я понимаю: это капитан вежливо проверял, не посылаю ли я сигналы притаившимся за горизонтом врагам.

Мы дошли до границ Польши. Телевизоры уже принимали их передачи. «Плыть бы еще и плыть! — думал я. — До самой Англии!».

На обратном пути мы почти отдыхали. Я так обленился, что сидя с книгой на корме, посылал Галю к командиру — передать пожелания Валентины Яковлевны: «Лев руля!» или «Право руля!». Камера себе тархтела, Володя Рыклин в перерывах развлекал нас байками.

Я уже говорил, что Владимир Григорьевич был сыном штатного фельетониста газеты «Правда». Должность столько же почетная, сколь и рискованная. Конечно, хорошо было жить в Доме на набережной, получать кремлевский паек и первым узнавать сногшибательные новости. Но как же опасно было быть на виду в те еще годы! Снаряды падали просто рядом. *«Однажды, рассказывал Володя, когда мы жили на даче, к дому подъехала черная «Эмка». Из нее вышли двое военных.*

— Хозяин дома? — спросили они, до смерти испугав Володину маму.

— Он где-то... гуляет, — пробормотала она, а Володя стремглав кинулся прочь. Он нашел отца у озера.

— За мной? — спросил отец. — Ну что же делать... Пошли!

Когда они вошли в комнату, военные терпеливо беседовали за столом.

— Вы ко мне? — спросил Рыклин-старший.

— *Собирайтесь!* — приказал один из военных. Отец простился с матерью, успокоив ее, что это недоразумение, и он скоро вернется. Военные насмешливо кивали головами.

— *Ну, гражданин Могилевский, пошли!* — предложил один из них. Отец с надеждой встрепенулся:

— *Могилевский?.. Я Рыклин!*

— *Рыклин?* — Военные уткнулись в его паспорт. — *А Могилевский?*

— *На соседней даче, — еще не смея верить, показал отец. Военные извинились и отправились на соседнюю дачу... Могилевский умер в лагере.*

Во время войны Владимир Григорьевич служил в службе разложения противника. Он ездил в автомашине с мощными рупорами. Подъехав поближе к переднему краю, они включали запись с обращением на немецком языке и ставили какую-нибудь душещипательную немецкую пластинку. «Что-нибудь про родной дом, где тебя ждут мутер унд фатер». Немцы открывали огонь, и тут уж все зависело от проворности водителя.

— *Я был единственным евреем в казачьей части!* — смеялся Володя. — *Мои друзья устроили из этого анекдот: «Когда еврейское казачество бунтует!».* Только мне было не до смеха... *Какой из меня кавалерист! Скомандуют: «По коням!.. Рысью!».* Все уже в седлах, а я все стремя найти не могу... *Но ничего — я старался. Даже песни с ними спивал. В основном — такие, что ни слова сказать не могу... Может, это и спасло мне жизнь. Мы стояли на Керченском полуострове. Боев здесь давно уже не было, все расслабились, стирали portянки. Однажды ночью меня будит водитель:*

— *Немцы рядом!.. — Ты что! Фронт же далеко!.. — Прорвались! Все бегут! Тикай!..*

— *А машина?.. — Тикай, тебе говорят!..*

— *Добежали до пролива, берег забит нашими. Ни катеров, ни лодок. Водитель кричит: — Плыви!.. — Куда? Как?... Я же не плаваю!.. — Вот доска! Плыви!*

— *И поплыл!.. А все, кто остался, попали в плен. Это был знаменитый Керченский разгром.*

Крейсер вернулся в Кронштадт. Пора было расставаться с гостеприимным кораблем. На палубе стоял строй матросов и трубачи. «О, как нас провожают!» — подумал я. Провожали адмирала. Нас скромно спустили в катер с другого борта и без лишних слов отправили в Ленинград. Мы сидели притихшие, чуточку грустные, а Галя откровенно не скрывала слез.

— Ты что? — ухмыльнулся я. — Оставила на корабле свое сердце?

Иди знай, что это и в самом деле серьезно...

Мы теперь каждый год снимали дачу в Черепкове. До работы я добирался «автостопом» — выходил на кольцевую дорогу и голосовал. Водители грузовиков охотно подбирали меня и довозили до Ленинградского шоссе. А там уже было два шага до студии.

В Черепкове уже не первое лето жил и Володя Рыклин с семьей. С женой Наташей и дочкой Мариной — рыжим подростком. У них часто бывали гости, и пару раз мы всей компанией ходили купаться. За сорок минут дороги я наслушивался всяких интересных разговоров. То не очень лестно говорили о дипломате Майском бывшем эсере и меньшевике, а потом усердно прислуживающем большевикам. То ругали какого-то Мапделя, который плюет в колодезь. Но когда дошли до его стихов, мне понравились строчки:

Но кони все скачут и скачут,

А избы горят и горят.

На обратном пути я даже попросил еще раз прочесть стих, где «избы горят».

— А, это Коржавина, — сказали мне:

...Столетье промчалось. И снова,

Как в тот незапамятный год —

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдёт.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд...

Но кони — всё скачут и скачут.

А избы — горят и горят.

Через пару лет мы уже знали наизусть подпольные стихи Наума Коржавина «Памяти Герцена». Это был его отклик на статью Ленина, которые все «проходили» в институтах. Декабристы, мол, разбудили Герцена, а дальше пошло-поехало по цепочке.

Какая сука разбудила Ленина?

Кому мешало, что ребенок спит? — спрашивал Коржавин.

А что?

Что-то я стал замечать перемены в характере Валентины Яковлевны. Она похоронила свою маму. Старушка лежала в гробу, такая сухонькая, прямо кукольная. «Как же у нее хватало силенок, — думал я, — тиранить нашего властного, уверенного в себе, всеми уважаемого режиссера?». Провожających почти не было. Дочь Катя, ее муж Алик, да я. Катя выглядела еще благороднее, еще утонченнее, чем на фото. Она недав-

но окончила Институт связи и работала звукоинженером на «Мосфильме». С мужем Аликом мы обошли окрестные магазины в поисках закусок для поминального стола. И у меня было время его рассмотреть. Высокий, крепкий, как говорила моя мама, «видный». Валентина Яковлевна очень уважала его отца. Александр Моисеевич был заместителем Твардовского — главного редактора журнала «Новый мир». Но о самом Алике она была не лучшего мнения. «Типичный плейбой, — жаловался мой режиссер. — Учился на журналиста, бросил. Хотел быть спортивным репортером, а теперь ушел в АПН. Вы же знаете, что это такое!».

Агентство печати «Новости» называли «детским селом»: там околачивались юные потомки партийной и государственной элиты. «До первой перетряски власти!» — предсказывала Валентина Яковлевна. А для меня и Алика, и Катя были людьми не моего круга, совсем из другого мира. Разве я мог позволить себе запросто выложить на стол купленную у фарцовщика импортную пластинку. Ну и что, что Армстронг! Ну и что, что «Мозес»! Так ведь шестьдесят рублей! Две трети моей зарплаты! Они не были богаче меня. Они были другими.

Так вот. Валентина Яковлевна перестала плакаться мне в жилетку. Мамы больше не было, и в Валентине Яковлевне словно освободилась какая-то пружина. «Слушай! Я ее не узнаю! — удивлялась Галя. — Капризная, слова поперек не скажешь! Все не так, всем недовольна!». И правда, теперь режиссеру ничего не стоило помянуть черта, когда я случайно опаздывал на работу. Подумаешь — и всего-то на час. Делов то!

Осенью начались переезды. До меня не сразу дошло, что это навсегда. Что больше не будет посиделок на студийном дворе, вечного гула голосов, тесноты прокуренных комнат. Что не будет звона трамваев за проходной и такой манящей близости улицы Горького. К тому же, пока тянулся долгострой, ближайшие окрестности заросли домами, никакого простора вокруг уже не было, а вместо Голливуда мы получили бесконечные коридоры с множеством комнат. Контору.

Тем не менее, надо было разбирать барахло, выбрасывать ненужное, паковать все, что представляло ценность. Под лавочкой в объединении я нашел все одиннадцать вариантов моего первого сценария. «Авось, еще пригодятся, — подумал я. — Хотя бы на черновики». Примерно такое же отношение было у всех по отношению к Лесной вообще. Не стоит выбрасывать то, что сделали Згуриди, Долин, Шнейдеров. Не стоит затапывать зерна, которые были в фильмах Бабаяна, Миримова, Тяпкина, Таврог. Как можно отказаться от реки, переполненной текущими облаками — от великолепных кадров Юры Муравьева! Как можно забыть золотистые рассветы в саванне, снятые Эдуардом

Эзовым! Как можно не переживать заново каждый миг взлета космического корабля, сохраненный для нас камерами Касаткина, Суворова, Афанасьева! Стараться быть лучше — да! Наплевать и забыть — нет!

Короче говоря, Лесную-27 мы взяли с собой.

На новой студии замелькали новые лица. Из ВГИКа пришли ученики Долина. И почти в одно время с ними — выпускники отделения учебного кино — того самого, куда поступал Саша Буримский. Их сразу запрягли в работу — бросили на киноконкурс «Говорите по-русски» («Русский язык для иностранцев»). Ребятам дали возможность «поиграть» в кино.

Но тут было не все так просто. Студийные аборигены не спешили уступать пригретые места. Говорили же, что режиссеров «Моснаучфильма» выносят со студии только «ногами вперед». Да и работники так называемого «среднего» звена не спешили раскрывать объятия «молодым, да ранним». Вот и шли из экспедиции телеграммы о непрофессионализме Славы Цукермана, о его неумении входить в контакт с окружением. А Слава просто хотел, чтобы люди работали. И когда ему повезло собрать группу единомышленников, он сделал свои умные и глубокие фильмы. Он вступил на путь, который привел его в Голливуд. Хотя, если честно сказать, шлейф «Моснаучфильма» тянется за ним до сих пор. «Болты в томате» неистребимы.

Нелегко дался дебют и Жене Осташенко. Говорили, что Евгений Константинович был племянником Долина. Это не помешало ему уже во ВГИКе сделать заметную курсовую работу — «Мальчик и голубь». Студенческий фильм заслужил сразу несколько наград на международных фестивалях и сделал имя... Андрею Кончаловскому. Да, да, в книгах по истории кино эта картина целиком приписывается мэтру, хотя в титрах четко обозначена фамилия сорежиссера: Осташенко.

Сценарий для Осташенко написал Олег Осетинский. Этот субъект стал мне несимпатичен после того, как я увидел его, насмехающимся над каким-то студийным приказом. Мало ли что вывешивают на стене объединения. Но кто разрешил постороннему ехидничать по этому поводу! Это наше право — издеваться над родной студией!

Сценарий, правда, был занятным. Назывался он «Док», и фильм по нему должен был только под музыку показать процесс восстановления корабля. Но что-то у Жени не заладилось. То, что было задумано, не получалось. Женя не скрывал своего отчаяния.

— Уйду! — твердил он. — Брошу это дело! Нет у меня таланта!

— Все у вас будет хорошо! — успокаивал я его с высоты моего опыта. — И картина выйдет! И работать научитесь!

И правда, Женя собрался и сделал много заметных картин. И стал народным артистом. Только мне кажется, моего покровительственного тона Остащенко мне никогда не простил.

Вместе с Женей в объединение «Радуга» пришел Юра Данилов — «летчик», как его называли. А потом они вместе привели еще одного долинского ученика — Костю Ровнина. И журнал «Хочу все знать» сразу стал живее и ярче.

Я писал для него сценария. Боже, какие это были муки творчества! Когда через пару лет великий Хитрук снял «Фильм, фильм, фильм», я с горькой иронией узнавал в сценаристе себя. Это я так же носился по комнате в поисках нужной мысли и нужного слова. Это я так же рвал на себе волосы и бился головой о стену. Кому смешно, а кому — это кисло-сладкие воспоминания молодости. Как же я мечтал, чтобы этот проклятуший сценарий написал за меня Райтбурт. Вот тогда бы я, наконец-то, понял: как это надо делать. Должна была пройти целая жизнь, прежде чем до меня дошло, что никто за меня мою работу не сделает.

А пока я с готовностью принял предложение Берты Михайловны работать вместе. Ей нужно было «прикрытие» — неудобным считалось директору объединения «проталкивать» собственные сценарии. А мне нужно было «зеркало», которое отражало бы приходившие в непутевую головы идеи. Берта Михайловна оказалась прекрасным зеркалом. Глупости она сразу отбрасывала, а крупницы истины укрупняла и усиливала. В ней уже тогда были видны задатки будущего редактора.

Берта жила на улице Горького. После работы мы наскоро перекусывали и сидели за знаменитый круглый стол. Знаменит он был тем, что еще до войны драматург Погодин писал за ним «Человека с ружьем» и «Кремлевские куранты». Если же муж Руфа был дома, мы запирались на кухне. Работали азартно и весело. Мужа Руфу, по моему, это раздражало. Руфа был оператором, не имевшим вгиковского образования. Он снимал первые взрывы атомной бомбы и вместе с еще десятком студийцев получил хорошую дозу облучения. Волос на голове у него практически не осталось. Помню, как за пару лет до того студия активно обсуждала, сохранять ли Берте ребеночка. Монтажный цех говорил: «Рожай!». Мнения редакторов разделились. А Сара Марковна категорически сказала: «Не сходи с ума!».

Характер у мужа Руфы был радиоактивным. На стене столовой висела сабля времен гражданской войны. Говорили, что с этой саблей у Берты были связаны не самые сладкие воспоминания. Но мне она никогда не жаловалась.

Почему-то первые совместные сценарии были связаны с музыкой. «Музыкальные автоматы», «Рисуем музыку», «Музыкальная грамота». Мы рассказывали о музыкаль-

ных шкатулках, пианолах, шарманках. Об изобретении нотной азбуки. Берта притаскивала гитару, на которой никто из нас не играл. Мы терзали струны, веселились так, что только просьба мужа Руфы накормить его останавливала нас. Но после обеденной стопочки мы с прежним гвалтом продолжали свои музыкальные изыскания.

Я учился уже на третьем курсе, и Михвас иногда принимал сценарии под моим именем. Конечно, после письменных обращений, сочиненных Ниной Марковной и подписанных Долиным. А снимала сюжеты Валентины Яковлевна. Нам охотно помогали в Политехническом. Тогда же я познакомился с композитором Шандором Калосом. Он был большим любителем старинной музыки и охотно согласился поиграть на лютне. Мы одели его в камзол с кружевным жабо и окружили горящими свечами. Получилось красиво.

С Шандором я столкнулся и в Музее Скрябина, где он сочинял музыку, пользуясь хитроумной установкой. Она позволяла «рисовать» звуки в окошечках, связанных с фотоэлементами. Причем звук мог быть воспроизведен любым инструментом и даже оркестром. Установка была сложная, а рассказать о ней надо было просто. Вот почему мне стало не по себе, когда я узнал, что снимать сюжет будет Виктор Архангельский. Он был большим режиссером и поэтому слова в простоте сказать не умел. Повторялась история со «Сверхмагнитами».

На новой студии детскому объединению отвели три большие комнаты. Режиссеры во главе с Долиным жили теперь отдельно. У нас теперь даже был свой секретарь.

Новая студия, новые режиссеры — все это переводило нас на другой уровень. Каким-то сигналом для молодых стал фильм Вадима Виноградова «Почему скачет мяч». Ярко, весело, забавно он рассказывал о свойствах резины. Все строилось на броских ассоциациях, все было откровенной игрой. Все говорило о том, как надо делать фильмы для детей.

Вадим Петрович Виноградов обладал уникальным свойством: он в нужный момент включал энтузиазм. Заводился, что называется «с полоборота». И умел завести других. Группа, работавшая с ним, не жалела себя. И только потом, остывая, люди начинали различать, где подлинное горение, а где расчетливый артистизм. Но фильмы он снимал классные. До тех пор, пока не стал делать карьеру.

Почти одновременно появился фильм, рассчитанный на более взрослую аудиторию. Мы ведь были «для детей и юношества». Марианна Таврог сделала картину о молодых поэтах, погибших на войне. Сценарий написала, конечно, Нелли Лосева. Сначала он назывался «И все-таки пробьемся мы». Это из стихов Павла Когана:

*Мы понимали: в наши дни
Нам выпала такая участь,
Что пусть завидуют они.
Они нас выдумают мудрых,
Мы будем строги и прямы,
Они прикрасят и припудрят,
И все-таки пробьемся мы!*

В то время о них вдруг вспомнили. Оправдывалось предсказание Николая Кульчицкого:

*Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах читаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.*

Стали издаваться поэтические сборники, печатались воспоминания друзей автора легендарной «Бригантины». Даже я увлекся образами молодых поэтов, искренне веривших в светлое будущее своей страны и отдавших жизни за эту веру. Я набрасывал эпизоды сценария о Павле Когане, где была ночная Москва с противотанковыми ежами, тени в окнах, заклеенных крест-накрест, темное поле под Новороссийском. И, конечно эпиграф из Екклесиаста: *«они — как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает»*.

Но Виктор Миронович, который вместе с ними учился в ИФЛИ (Институте философии, литературы и истории) и тоже воевал, остудил мой энтузиазм: «Они же жили с закрытыми глазами!». Я понял, что он хотел сказать.

А в Комитете, принимая фильм Таврог, забеспокоились: «А куда это они собираются пробиваться?». И заставили изменить название на «Сквозь время». Ударным эпизодом фильма стал вечер поэтов в Политехническом. Были и Вознесенский, и Евтушенко, читали стихи сверстники погибших поэтов: Слуцкий и Самойлов:

*Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая...
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.*

Душевный получился фильм.

Как странно движется время. До двадцати пяти лет оно еле текло. Я все приставал к нему: «Ну, когда же? Когда же?». А потом оно понеслось вскачь.

Только что я изводил домашних стихами Багрицкого. И вот уже достаю их строками из «Бориса Годунова». Пишу курсовую по великой драме. «Ты, отче патриарх! Вы все, бояре! Обнажена моя душа пред вами!». Я твержу и твержу, пока эта «обнаженная душа» не застревает у них в печенках.

Только что мы снимали фокусника Арутюна Акопяна по нашему с Бертой сценарию. И вот я уже въезжаю на машине в Кремль, и часовые отдают мне честь. Мы снимаем картину «Биографию великой башни» — о колокольне Ивана Великого. И поднимаемся на трехъярусную высоту, и любимся панорамой нашего города. И нас ведут по кремлевским стенам и заводят в Грановитую палату. И все за три рубля, которые я плачу «искусствоведу в штатском».

Незаметно подошел юбилей моего режиссера. Валентине Яковлевне исполнилось шестьдесят. Я намекнул об этом Нине Марковне, и она организовала стол в конференц-зале и роскошный столовый сервиз в подарок. А вечером мы гуляли в новой квартире режиссера. Ну да, Валентина Яковлевна, наконец-то, купила кооперативную квартиру в мосфильмовском доме у метро Вернадского. Были Райтбурт и Злотов, Нина Марковна, Виктор Архангельский с другом Кареном. Мы с Таней и, конечно, Катя с Аликом. Я почему-то запомнил, как испуганная Катя забежала на кухню и стала умолять нас увести Алика, который рвался устроить драчку с Архангельским. Ему, видите ли, не понравилось, что этот «нетрадиционный» танцевал с его женой!..

А между тем, и сам Алик беспокоил Валентину Яковлевну. На него, по «агентурным» данным, «положила глаз» непутевая дочь «о-очень большого человека», которая тоже подвизалась в АПН. Валентина Яковлевна мудро считала, что *«минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»*.

Говорят, что существует высшая справедливость. Иногда она проявляется и в мелочах. Когда мы приезжали в Сухуми работать, погода вела себя прилично: «золотая осень» баловала нас теплом и ясным небом. Море было приятной комнатной температуры. Когда же мы явились туда, чтобы снять птиц над прибоем и больше ничего, мокрые тучи встретили нас дождем и волны кидались на берег со свирепой усмешкой: «Ишь чего! Погулять за казенный счет захотели!».

Гулять пришлось под мелкими каплями по пустой набережной. Валентину Яковлевну потянуло на воспоминания. Во время войны ее английский муж работал секретарем у известного журналиста Александра Верта. Они вместе выезжали на фронт, были

в осажденном Сталинграде, несколько дней провели в блокадном Ленинграде. Репортажи Верта слушала вся Англия. Но тогда-то муж и пристрастился к застольям, считала Валентина Яковлевна. Им же пришлось встречаться с генералами, политиками и писателями, и каждая встреча не обходилась без возлияний. А после войны муж мотался в соседнюю Финляндию — отправлять правдивые репортажи из Москвы стало невозможно. А финны, как известно, тоже не дураки выпить.

— А сейчас ему плохо, — жалела бывшего мужа Валентина Яковлевна. — В Англии его считают «розовым», чуть ли не советским агентом. Семья от него отвернулась, и он не находит себе места...

Галя, которая всегда все знала, сообщила мне по секрету, что Валентина Яковлевна собирает документы — хочет, чтобы бывшему мужу разрешили проживание в Союзе. Что он без ума от дочери и мечтает воссоединиться с ней и с внуком Ваней.

Параллельно с нами в Сухуми работала группа молодого режиссера Славы Лопатина. Вячеслав Сергеевич делал один из фильмов учебного сериала «Говорите по-русски». Какой-то эпизод они собирались снимать в Пицунде. «А почему бы нам не поехать с ними?» — подумали мы. И поехали. Пока Лопатин со своей группой колготился на берегу, мы гуляли по реликтовой роще, дышали морским воздухом и говорили, говорили. Валентина Яковлевна рассказывала, как ее вербовали в «стукачки»:

— Вызвали куда-то на Мещанскую. И давай приставать: «Вы же советский человек! Вы должны помогать органам! Вы бываете среди иностранцев. Да и то, о чем говорят в вашем кругу, нам важно знать! Мы не требуем от вас доносить, просто информируйте нас! Вреда от этого никому не будет!». Еле отплакалась. Рыдала, не переставая: «У меня слабая нервная система! Я не смогу ни от кого скрыть!». В общем, отстали...

А Краснов вспоминал студийных дам — любительниц писать доносы в дирекцию.

— Была такая Барабанова. В какой-то экспедиции гуляли всей группой, веселились, заставили ее снять туфельку и пили из нее шампанское: «За милых дам!». Ну, само собой, за нее. Вернулись на студию, а там уже их персональные дела разбирают. Барабанова успела настучать...

Само собой, зашел разговор о партсобрании, на котором разбирали донос Ткачева в ЦК. Среди нас не было членов партии. Но подробности знали все.

— Вы подумайте! — возмущалась Валентина Яковлевна. — Сто тридцать страниц! И все — о еврейском засилье на студии!

Ткачева отличал громоподобный голос и патологический антисемитизм. Он утверждал, что на студии засела еврейская шайка, которая, захватив власть, не дает хода честным русским людям. Тихонов, по его словам, продался евреям и идет у них на по-

воду. «А почему товарищ Ельницкая, — спрашивал он, — делая фильм о Радищеве, не подчеркнула, что Радищев — **русский** революционный демократ? А почему товарищ Райтбурт снимает фильм о никому не нужной теории относительности еврея Эйнштейна? А почему он не делает картины о Спинозе — тоже еврее, но которого выгнали из синагоги? Я не антисемит, товарищи, я просто против буржуазного национализма!».

Ткачева дважды исключали из партии, но каждый раз райком восстанавливал его. Теперь, кажется, он перешел все границы. «Председатель Госкино Головня, — говорил Ткачев, — сам скрытый еврей, но я его разоблачу! Вы посмотрите только на его лицо — чистый еврей!».

— С Головней, говорят, была истерика! — сказала Валентина Яковлевна. — Он топал ногами и гнал Ткачева из кабинета!

И еще говорили, что, получив письмо Ткачева, секретарь ЦК по культуре Романов простодушно воскликнул: «Да он же откровенный антисемит!», сделав ударение на слове «откровенный».

Самое противное, что на том собрании были люди, симпатизирующие Ткачеву. Для нашего «рабочего класса» он был трибуном, который резал «правду-матку». Не лучше выглядел и «интеллигентный» оператор Боря — сын Головни, который тонким голосом обиженно произнес: «Откуда вы взяли, товарищ Ткачев, что мой папа еврей? Я тридцать один год живу на свете и не подозревал этого!».

— И все-таки на этот раз они его выгнали! — с торжеством заметила Валентина Яковлевна.

— Нет! — сказал слышавший конец нашего разговора Лопатин. — Московский комитет не утвердил исключения!..

Мы вдоволь надышались и славно поговорили. И в благодарность я предложил завезти Славу в пацху на Новом Афоне. Все было по заведенному ритуалу: мясо на шампуре, лобио с куском сулгуни, молодое вино. И песни! Нахальным хором исполняли мы старинные романсы и «сотню юных бойцов из буденновских рот». Я был такой веселый, что выйдя подышать, не заметил, как очутился между медведем и стеной, к которой он был прикован. Испуганно залетел в ближайший кювет. И здесь уже совсем проснулся, услышав зловещее шипение под ногами. Змеи! Пока они приходили в себя, я уже сидел в нашем микроавтобусе.

Песни не смолкали и всю обратную дорогу. По лицу Лопатина я понял, что такая раскованность ему в новинку. Но что он не имеет ничего против. Я и не подозревал, как этот легкомысленный день значимо аукнется в моем будущем.

А в это время мой друг Миша получил диплом оператора и на целых семь лет «приковал» себя к такому же молодому режиссеру Леше Соколову. Вместе они делали познавательные фильмы, за которые регулярно получали Ломоносовские премии. На меня сильное впечатление произвела их картина о сине-зеленых водорослях. Дело в том, что я сам собирал материалы об этих древних обитателях планеты. Меня опередили — и очень удачно: получился фильм-предупреждение о грозящей Земле опасности.

Алексей Соколов был правдоискателем. Сначала это было достаточно безболезненно для него самого. Ну, подумаешь, поцапался с плановым отделом. Ну, подумаешь, не пошел на сокращение сметы. Ну, подумаешь, вывел на чистую воду автора, написавшего липовый сценарий. Но постепенно этих «подумаешь» становилось больше, и, в конце концов, они привели к грандиозному скандалу в будущем. Хорошо еще, что Леша увлекался теорией кино, и ему было куда отступить.

Не знаю, то ли в отместку за Лешин задорный характер, то ли просто по разгильдяйству бухгалтерия студии полторы недели продержала группу без денег.

Это случилось в Сочи и очень напомнило мне наше голодное сидение в Цимлянске. С той только разницей, что директор у Миши оказался не чета мне.

Этот внук Остапа Бендера и правнук Казановы кому надо подмигнул, с кем надо полюбезничал — и в гостинице их держали задаром, и в столовой самообслуживания кормили, не заикаясь о деньгах.

Люди в те времена были на удивление отзывчивы. Миша рассказывал совершенно фантастическую историю. Была у нас директриса Софья Львовна. Маленькая сухонькая старушка — «божий одуванчик», как ее называли. Но бойкая. Ее любимой присказкой было: «Нет таких крепостей, которые не сдавались бы большевикам!». Правда, у нее хватало здравого смысла добавлять: «Но нужно было крепко подумать — стоило ли их брать...».

— И вот, — вспоминал Миша, — взяла она такси, поехала в банк. А там говорят: «ничего ваша студия не прислала!». Бедная старушка вышла вся в слезах: не кормленная группа сидит в коридоре гостиницы, жить не на что, есть не на что. А ведь еще и снимать надо!.. Видя ее в таком состоянии, водитель выскакивает из такси, бережно ведет к машине, усаживает и спрашивает — что произошло? Узнав в чем дело, таксист-эстонец, не говоря ни слова, заводит мотор, и они куда-то едут... Поехали же они, сначала, на работу к его жене — забрать семейную сберкнижку, а потом — в сберкасса! Сняв деньги — приличную сумму — водитель без всякой расписки вручил их обомлевшей Софье Львовне! Деньги из Москвы, рано или поздно, но пришли и, конечно, с водителем в первую очередь рассчитались! А в Талине, между тем, наступ-

пало Рождество, и Софья Львовна устроила в своем номере праздник с елкой. Были приглашены — как почетные гости! — водитель с женой, ну и наша группа. А еще С. Л. позвала одну русскую девушку — консультанта из городского музея. Вот и она нас тоже крепко удивила. Узнав состав гостей, «работник культуры», с нескрываемой неприязнью, сказала: «А этих-то — эстонцев -зачем позвали!?». Хам есть хам во все времена.

А сидеть в экспедиции без денег стало на студии «проверкой на прочность». Тот же Миша снова испытал это удовольствие через пару лет. И снова в Сочи. Работал он тогда оператором у хорошо знакомого мне Саши Рацимора. Снимали они рекламу мороженного.

— Кому она нужна в нашей, не самой жаркой, стране? — удивлялся Миша. — Но, заказ студией принят, колесо закрутилось, и мы начали «осваивать» деньги заказчика! Макетчики нарезали нам чурбачков по форме разного мороженного, а на фабрике их обернули в красивые бумажки. И в ноябре мы поехали в Сочи! Почему в ноябре? А потому что все лето утверждали план и смету, а летнюю натуру пришлось искать осенью на югах. Утешало, правда, что не одни мы такие. Посмотрели мы там на удивительное действо — группа «Мосфильма» привязывала к голым осенним деревьям зеленые пластмассовые листья! Из Москвы привезли, в огромных мешках. Они тоже прохлопанное лето догоняли.

Поселили группу в каком-то шахтерском пансионате. Главного «мороженщика» у нас играл аж сам Савелий Крамаров! Молодой, но уже знаменитый, Савелий оказался приличным мужиком и звезду из себя не строил. В нашем ролике он на фургончике с надписью «Мороженное» гонял по улицам Сочи, а за ним бегала толпа массовки, якобы жаждущая этого мороженного! Правда, Савелий был дальтоник, но цвета световых сигналов он выучил, и ДТП у нас никаких не было.

Но главное не это, — продолжал Миша. — Кончились деньги. А новых не прислали!

Умничка — директор наш — Лиза Степанова — догадалась оплатить проживание намного вперед, а вот, на суточные, не осталось... И несколько дней у нас оказались разгрузочными! Наши жены уже собирались голодающим мужьям деньги из Москвы высылать!.. Помню, натолкнулся я тогда в магазине на ливерную колбасу под интригующим названием «Растительная»! Из каких именно растений делали там этот «ливер», осталось загадкой, но цена была что-то в районе 80-ти коп за кг. Денег хватило еще и на буханочку черного хлеба. Пришел в гостиницу, по-братски разрезал хлеб, намазал, не жалея, его этим «составом» и разнес ребятам по номерам. Саша Рацимор

играл в это время с шахтерами в преферанс. Видимо, надеялся добыть немного денег... И надо было видеть лицо Саши — эстета и гурмана — когда он взял в руки такой «бутерброд»! Мы с Геной Еришовым — моим другом и ассистентом — умяли голодухи это лакомство мгновенно, но я до сих пор помню вкус и запах сочинской «Ливерной-растительной»!

Почему я ничего не пишу о фильмах Долина? Борис Генрихович за эти годы сделал несколько заметных фильмов. Больших. «Слепую птицу». «Удивительную историю, похожую на сказку». «Короля гор». Все они «рисовались» по схожему лекалу. С трогательным, попавшем в беду животным, с обязательным мальчиком, пришедшем ему на помощь, с ворчливым, но добрым в душе стариком. И все обязательно хорошо кончались. Фильмы смотрелись, получали награды, но они проходили как-то мимо меня. Хотя, чем больше я узнавал Бориса Генриховича, тем больше его уважал. Говорили, что на съемках он деспот, что ни один кадр не обходится без крика, что соавторы судятся с ним. Но я-то знал его с другой стороны. Он был настоящим руководителем объединения. Именно при Долине оно стало ведущим на студии. Что мне нравилось в худруке — так это его толерантность. «Это от меня далеко, — говорил он молодым режисерам. — Но если вы так видите, делайте!». Достаточно сказать, что именно в «Радуге» Семен Райтбурт снял свои лучшие фильмы — умные, дерзкие, совершенно далекие от интересов Бориса Генриховича.

Со временем он «мягчал» по отношению ко мне. Началось это с «Муравьиных коров» — маленького сценария о тлях, сладкими выделениями которых кормятся муравьи. Любят этот сироп и божьи коровки. Муравьям приходится охранять свое «стадо». В сценарии была фраза, которой Юра Данилов и Женя Осташенко доставали меня: «Пастух, твою корову доят тунеядцы!». «Ничего, ничего!» — говорил Долин. Ему нравилось все, что касалось живой природы.

В 1966 году студию «Моснаучфильм» переименовали в «Центрнаучфильм». Повысили ее статус. Не помню, сказалось ли это на зарплатах. Боюсь, что нет. Я к тому времени был тарифицирован в следующую категорию и получал аж сто десять рублей! Мы с родителями теперь жили отдельно: они ушли в кооперативную квартирку за метро «Молодежная», а мы остались в наших двух комнатах. Студия построила дом на Ленинградском шоссе, и многие теперь обитали по соседству с работой.

Кончилась эпоха «Ивана Денисовича». Началось хождение «Мастера и Маргариты». На студии передавали друг другу перепечатанные на машинке и переплетенные

вручную журнальные варианты. Таня принесла такой с «Мосфильма». Читали — смеялись, хмурились, вздыхали: «Господи! Как же мы жили без этого!». И удивлялись: «Они что — не понимают, что это гвоздь в гроб советской власти!».

В Доме кино смотрели «Красную пустыню» и восхищались красотой и безысходностью фильма Антониони. И долго спорили о том, подражает ли ему «Июльский дождь» Марлена Хуциева.

А мы с Валентиной Яковлевной отправились в Киев — снимать сюжет о местном умельце микроминиатюрного дела. Он писал книги на рисовых зернышках, рисовал портреты на торце человеческого волоса, делал модели, которые можно было увидеть только в микроскоп. А зарплату получал за изготовление мельчайших инструментов для глазных операций. Сядристый, так его звали, работал на заводе искусственных алмазов. Эти алмазы шли не на украшения, а на режущие инструменты и во много раз усиливали их остроту. Так что сюжет, который мы быстренько слепили по моему сценарию, шел под заголовком «Алмаз-богатырь».

Оператором у нас был Володя Новгородцев — студийный специалист по микросъемке. Застенчиво улыбаясь, он снимал то, что было недоступно невооруженному человеческому глазу. А также и то, что протекало незаметно для нашего зрения. Его установка — цейтрафер — укорачивала время и позволяла увидеть, как прорастает зерно или распускается цветок.

В этот приезд я в последний раз встретился с киевской родней. Потом пошла полоса смертей, и город потерял для меня свое обаяние.

Это был год великих потрясений. Год шестидневной войны, когда маленький Израиль в пух и прах разгромил армии арабского Голиафа. И год некоего страстного увлечения, которое чуть не перевернуло чью-то жизнь. И о котором в прямую и не расскажешь.

В общем так. Жил-был один Прынец. Так себе Прынец. Но себе-то он казался единственным и неповторимым. Вот только его Прынцесса не разделяла такого самомнения. Она видела много-много пятен на этом еще не короле-солнце. Да и станет ли он когда-нибудь королем? — сомневалась она. И вот одна фрейлина, узнав об этих сомнениях, подумала про себя: «А ведь этот Прынец очень бы пригодился в моем хозяйстве! Малость его почистить, стряхнуть с него пыль, чуточку потереть, он и заблестит, как медный пятак!». Фрейлина была не то, чтобы коварная, просто слегка безбашенная. Морально-этического кодекса в те времена еще не преподавали. К тому же она заметила, что Прынец положил на нее глаз. В общем, одним прохладным утром Прынец

проснулся в ее постели. И радостно удивился: как же может быть хорошо! Фрейлина оказалась женщиной его мечты. Как в известном немецком фильме. Каждый раз, уходя от нее и спускаясь по лестнице-чудеснице, Принц чувствовал чудесный подъем. Духа, а не чего-нибудь еще. И каждая секунда, проведенная вдали от фрейлины, казалась ему бесконечно пустой и мучительно не нужной. Так прошли месяцы. И по королевству поползли слухи. Дошли они до Принцессы, и она поставила вопрос ребром. Она-то думала, что Принц покается и вернется в лоно. Ан нет, уперся, как баран. «Люблю!» — говорит. И говорил, говорил. И Принцесса говорила, говорила. А маленькая Принцесска слушала из-под двери. И думала: «Не хочу быть взрослой! Все взрослые такие придурки!». Долго ли, коротко ли, очнулся Принц в родительских покоях. И душа его уязвлена была. И Принцессу покинутую он жалел, и по Принцесске маленькой убивался. И к фрейлине возлюбленной тянуло его, как сверхмагнитом.

Тяжелое было время. Говорят, беда не ходит в одиночку. Так было и с нашей группой. Галин Коля, поступив во ВГИК, увлекся какой-то преподшей. И свалил из семьи. Галя храбрилась, но видно было, что страдает всерьез. А ведь они всегда казались мне такой красивой парой.

Валентина Яковлевна собрала документы, нужные для приезда ее бывшего мужа, и подала их куда следует. Но там, где следует, тянули и тянули. И не отказывали, но и не разрешали. А бывший муж слал отчаянные письма: плохо ему было, и единственная надежда держала его на плаву. Кроме того, и у Кати с Аликом что-то разладилось.

В таком вот состоянии отправились мы в очередной раз в Сухуми. Опять снимать обезьян. На этот раз высших — были в питомнике и такие. Оператором у нас была Валя Русакова. Женщина-оператор. Небольшого росточка, субтильная, но чертовского упорства. Кончила, как и я, экономический. И снова пошла во ВГИК — на операторский. Представляете, как ее не хотели принимать. Но я же говорю — упертая. Мало того, что получила диплом с отличием, так очень скоро попала в секретный отдел — стала снимать космические пуски. И нашла такую точку для камеры, что после просмотра проявленного материала конструкторам стала видна причина постоянных неудач. На Валу обратил внимание сам Королев и обещал отправить ее с камерой в космос. К сожалению, врачи нашли, что здоровье не позволит этого. И все-таки время, проведенное на космодроме, осталось Валиным звездным часом.

С трудом, но я все же устроил группу в гостиницу. И договорился обо всем в питомнике. После этого заявил Валентине Яковлевне: «Ну, я вас оставляю! До завтрашнего утра!». И исчез в неизвестном ей направлении.

Через четыре часа я сошел с электрички в Адлере. Уже темнело, когда такси повезло меня горы. Я надолго запомнил это романтическое путешествие. Ночью, по серпантину над ущельями, под музыку, льющуюся из приемника, под скрип тормозов на крутых поворотах. И с остановками на узких площадках, чтобы пропустить встречную машину. Было десять часов, когда мы прибыли на Красный камень. «Киногруппа? — удивились моему вопросу на турбазе. — Так они сегодня утром уехали в Адлер!» У меня руки опустились. «Где же их искать?». Мне объяснили, что скорее всего они устроились на адлерской турбазе.

Хорошо, что таксист не успел уехать. «Стой! Стой!» — отчаянно закричал я вслед уплывающим огонькам. Обратный путь показался мне вечностью. Никакой романтики больше не было. Только крутой спуск в темноте да рваные скалы в свете фар.

На адлерской турбазе киногруппы не было. Такси уехало, и я остался один посреди южной ночи и стрекота цикад. Никогда еще я не испытывал такого отчаяния и такой безысходности. Я чувствовал себя последним человеком на Земле. Мир кончился, унеся с собой остатки надежды на возделенную встречу. Что мне было делать? Ночевать на вокзале? Больше податься было некуда. Электрички уже не ходили. С пустой душой брел я вдоль какого-то бесконечного забора. Хотелось выть. Вместо этого я остановил такси и рассказал водителю о своей беде. «Так у нас же есть еще одна турбаза!» — вернул он меня к жизни. И правда, меня отвели в домик, где ночевала администрация киногруппы. Жизнь вернулась. Я нашел ее!

Утром Семен Липович Райтбурт удивился, увидев меня посреди их сумасшедшего дома — шли сборы в дорогу. Но ни о чем не спросил.

В Сухуми я вернулся как раз к обеду. «Где вы пропадали?» — приставала ко мне расстроенная Валентина Яковлевна. «Так... Нужно было...» — скромничал я, как партизан.

— Прямо не знаю, что делать? — пожаловалась она мне. — Валя за ними не успевает...

Я присмотрелся — и правда, Валя не успевала нацелить камеру, как героиня-шимпанзе уже хватала табурет, вскакивала на него и палкой сбивала висящий на крюке банан. Камера стрекотала, а что толку — обезьяна уже возилась с запором другой клетки, где было спрятано спелое лакомство. Я занервничал: мне нужно было сегодня же попасть в армянскую деревушку над Сухуми. Я собирался взять с собой ассистента Гену Ершова, который иронически наблюдал за метаниями своего оператора.

— Валентина Яковлевна! — предложил я. — А пусть Гена возьмет камеру!

Русакова почему-то не возражала. Галя потом призналась мне по большому секрету, что Валя «чутьочку беременна» и поэтому слегка недомогает.

Гена снял все, что можно было снять. И мы с ним поехали. Я должен был передать дефицитные в Абхазии весы, который мой московский друг купил для своего армянского знакомого. Встретили нас с настоящим кавказским гостеприимством. Во дворе слышалось куриное кудахтанье, хлопанье крыльев, полетели перья, загудел огонь в очаге, что-то заклокотало в котле. Хозяин разлил вино по стаканам. После обязательных тостов за дорогих гостей («Чтоб они жили до ста двадцати лет!») хозяин-армянин вдруг провозгласил:

— За победу маленького народа над полчищем фараона! — и выразительно посмотрел на меня. Я с удовольствием чокнулся с ним. Видно судьба «маленького народа» была близка жителю армянской деревушки, окруженной мусульманским населением. Возвращались мы домой с чувством глубокого удовлетворения. Гена то непонятно чему усмехался, то принимался петь «Широка страна моя родная!», пугая дремлющих пассажиров ночного автобуса.

А Валя Русакова сняла потом много превосходных картин. Даже в ее рекламах было что-то поэтическое.

Жизнь текла параллельными ручьями. Один нес меня от картины к картине в одной лодке с Галей и Валентной Яковлевной. Галя металась в тоске по разрушенной семье. Но отчаянно храбрилась и собиралась пуститься во все тяжкие. Валентина Яковлевна бегала по «инстанциям», выбивая разрешение на приезд бывшего мужа. Катя окончательно рассталась с Аликом, безумно влюбившись в известного режиссера. Вот кого мне было жалко, так эту пару.

Мы снимали фильм «Кто как умывается». Сняли воробьев, купающихся в пыли. Сняли слона в Московском зоопарке. И поехали снимать бобров в Воронежский заповедник. Олег Васильевич, Гена Ершов и я. Бобры делали все, что положено: строили хатки, вылезали на берег и уморительно терли шерстку. Потом мы плыли на утлой плоскодонке по узенькой речке. Ветки деревьев смыкались над нами, а берега были красны от земляники. Не надо было нагибаться, можно было просто лечь на траву и объедать окрестное пространство.

Правда, лодка наша имела дурную привычку протекать и время от времени утопать, унося с собой того, кто зазевался. Хорошо, что воды в речке было по колено.

Потом мы той же компанией отправились в Туркмению — снимать отдыхающие там стаи перелетных птиц. Местечко Гасан-Кули находилось в пограничной зоне, по-

этому мне пришлось побывать на Лубянке, Генерал в зеленой фуражке принял меня благосклонно, при мне позвонил в Ашхабад и даже поинтересовался, какая погода сейчас на берегу Каспийского моря.

Летели мы через Красноводск. Там было ветрено и прохладно. И ужасно шумно, потому что жили мы в гостинице аэропорта, ожидая нужный нам самолет. Окно выходило прямо на взлетную полосу, и Гена Ершов развлекал нас подходящей к случаю песней: *«То взлет, то посадка...»*.

В Гасан-Кули летал, не к ночи будь памятен, АН-2. С лавочками по бокам и с незакрывающимися иллюминаторами. Продуваемый насквозь. Было не очень уютно, пока мы не перевалили через хребет Небит-Даг. Сразу потянуло теплым воздухом, запахло весной.

В аэропорту Гасан-Кули нас первым делом арестовали и отвезли на заставу. Оказывается, там о нашем прибытии понятия не имели. И пару часов командир дозванивался до начальства, пока не узнал, что разрешение просто застряло где-то в верхах. Вот тебе и военная точность, и генеральская благосклонность.

Гасан-Кули стоял на сваях. Они да развалившиеся лодки напоминали о том, что недавно здесь было море. Каспий мелел, и добраться до большой воды можно было только по специально прорытому каналу. О рыбацком прошлом поселка напоминали свисающие с кольев сгнившие сети.

Нас поселили в бараке, закрытом на ржавый замок. Гостиница. По пыльным портьерам сновали мышки. Фьют — и вверх. Фьют — и вбок. Фьют — и вниз. Мы им не мешали.

Но самое интересное ждало нас впереди. Туалет типа «сортир». Он стоял на центральной площади поселка и имел дверь. И больше ничего, о чем стоило бы говорить. Не поэтому ли местные женщины ходили с закрытыми лицами?

Нет худа без добра. Мы решили в ударном порядке снять все, что можно, и быстро сваливать из этой цивилизации. Нам дали не очень дырявую плоскодонку, одели в болотные сапоги (на всякий случай!) и выпустили в открытое море. Скоро выяснилось, что случай действительно «всякий». В лодке появилась вода. Пришлось нам с Геной оставить в ней одного Краснова с камерой, а самим брести рядом, толкая лодку перед собой. Воды было примерно по пояс, но она была приятно теплая. И все было бы ничего, если бы в кадр попадали птицы. «Что-то в этом году перелетные запаздывают, — оправдывались пограничники. — А так-то их здесь видимо-невидимо!».

Наша совесть была чиста. Не сидеть же нам здесь до второго пришествия. Но и улететь оказалось непросто. Места в самолетике надо было заказывать заранее. Тем бо-

лее, с аппаратурой. «Перевес будет!» — не соглашались летчики. Даже и не помню, как удалось уговорить их.

АН-2 летел от поселка к поселку. Вот уж воистину «то взлет, то посадка!». Я бы вспомнил о своей морской болезни, если бы не занятый калейдоскоп пассажиров. На каждой стоянке в самолет входили то седобородые старцы, то закутанное в черное женщины. Входили привычно, как в трамвай, а через десять минут полета так же привычно выходили. Если на лавочке не было места, покорно присаживались на пол. Окончательно заставила меня забыть о качке пожилая апа, загнавшая в самолет... козу!

В Красноводске выяснилось, что билетов на Москву в обозримом будущем не ожидается. Мы помыкались, помыкались, каким-то чудом усадили Краснова на пролетающий аэроплан, а сами полетели... в Баку. Единственное место, куда были билеты. А уж оттуда тихим поездом потрухали домой.

Поезд, и правда, был «тихим». Полз не спеша, что-то пережидая в чистом поле.

Но жалеть не приходилось. Даже на ходу было слышно соловьиное пение. А уж на стоянках оно звенело, перекрывая все звуки. Смелые пассажиры выскакивали из вагонов и, добежав до опушки леса, обламывали ветки цветущей сирени. Даже Гена не выдержал. И до самой Москвы мы утопали в этом парфюмерном аромате.

Так и сидят во мне с той поры соловьиные песни и сиреневые заросли на краю полей.

А другой ручей вынес меня к Центральному Дому культуры железнодорожников. Здесь была любительская киностудия, которой заведовала моя однокурсница по экономическому факультету Валя Бондарева. Та самая, о которой в моей записной книжке было замечено: *«Валя Бондарева упала в метро. Сидит и очумело бормочет: «Ой! Кажется, я упала!»*. Не помню уж, каким ветром прибило меня к этому очагу культуры. Только Валя пригрела меня — в смысле, пристроила к не очень хлебному, но очень нужному мне делу. Я должен был написать текст к их фильму о музее Великого почина. Если кто не знает, то это о первом субботнике, на который в годы разрухи вышли железнодорожники. Конечно, пришлось не просто текст писать, а сначала смонтировать сам фильм. Мне эта работа была, кроме прочего, интересна и в чисто спортивном плане. Как ухитриться на протяжении двадцати минут экранного времени ни разу не употребить слова «коммунистический». Придумал я для себя такое правило — эдакий «кукиш в кармане». И держал его там, пока руки были свободны.

Валя расстаралась и устроила для меня еще одну работу. Я должен был написать очерк о композиторе Покрасе и руководимом им эстрадном оркестре.

Дмитрий Покрасс был единственным оставшимся к тому времени в живых музыкальных братьев. Братья были известны своими песнями к популярным фильмам. Когда-то их пела вся страна. А теперь это был маленький, седой, слегка запущенный человечек, который оживал, только взяв в руки дирижерскую палочку или сев за рояль. На его лице были заметны следы искони российского увлечения. Но, тем не менее, он репетировал с оркестром, выступал с концертами, колесил по стране. Поэтому свой очерк о нем я так и назвал: «С песней по стране». Он вошел в методический сборник ЦДКЖ.

Конечно, там было только то, что дозволено. А все недозволенное я рассказал в написанной в совсем другие времена «Моей истории кино». Позволю себе привести довольно большой отрывок из нее.

ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ БРАТА

Да, да. Жили-были три брата. И, как в сказке, два умных, а один дурак.

Все трое были музыкантами, писали легкую эстрадную музыку и песни. А фамилия их была Покрасс.

Старший, Самуил, прославился знаменитым «Маршем Красной армии»:

Белая армия, черный Барон

Снова готовят нам царский трон,

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильнее.

Так пусть же Красная

Сжмает властно

Свой штык мозолистой рукой,

С отрядом флотских

Товарищ Троцкий

Нас поведёт на смертный бой!

Опасаясь, вероятно, что с «товарищем Троцким» ничего хорошего его не ждет, Самуил, как говорится, «слинял» в Америку. Не понимал, видно, что слова можно заменить, а песня останется. Дурак же, что с него взять!.. Говорят, правда, что, убегая, он оставил младшим братьям кучу музыкальных заготовок. Талантливый был дурак...

Но и братья были не лыком шиты. Власть в те годы не успевала меняться, и умные братья умело перенастраивали свой рояль под актуальные тексты. Злые языки утверждают, что именно ими написан белогвардейский «Марш Дроздовского полка». А чуть позже...

Я самолично слышал рассказ Дмитрия Покрасса об истории «Марша Буденного»... Было это в Ростове. Молодой композитор Дмитрий и поэт Д'Актиль работали над очередной поделкой. Вдруг за окнами послышался топот копыт. «Красные в городе!» — выглянув в окно, объявил Д'Актиль. Вдохновленный этим известием, композитор ринулся к роялю. Работал всю ночь.

Наутро Дмитрий Покрасс явился в штаб 1-й Конной армии. Там были Буденный, Ворошилов и еще кто-то из командования. Дмитрий сел за рояль и громко, с чувством запел:

Мы — красные кавалеристы,

И про нас

Былинники речистые

Ведут рассказ:

О том, как в ночи ясные,

О том, как в дни ненастные

Мы гордо,

Мы смело в бой идем.

Веди, Буденный нас смелее в бой!

Пусть гром гремит,

Пускай пожар кругом,

Мы — беззаветные герои все,

И вся-то наша жизнь есть борьба!

Дмитрий Яковлевич вспоминал слова самого Семена Буденного:

— Ух! Вот эта песня под коня подойдет!..

Он тут же распорядился оформить молодого музыканта «красноармейцем и композитором Первой Конной армии».

После окончания Гражданской войны Дмитрий был направлен на учебу в Москву. Вместе с братом Даниилом они руководили эстрадным оркестром Дома культуры железнодорожников. Писали музыку к фильмам («Трактористы», «Мы из Кронштадта», «Если завтра война».) Братьям Покрасс принадлежат популярные песни, в том числе «Москва майская», «Прощальная комсомольская» («Дан приказ: ему на запад»), «Три танкиста».

Дмитрий и Даниил были осыпаны орденами и Сталинскими премиями. Однако отъезд старшего брата Самуила, словно дамоклов меч, висел над младшими Покрасами. Тем более, что этот «дурачок» сделал прекрасную карьеру в Голливуде.

В музыкальных кругах давным-давно ходила история о совместном просмотре Сталина с Дмитрием Покрассом американского фильма "Три мушкетера".

«Когда пошли титры фильма, переводчик объявил:

— Музыка — Сэм Покрасс.

— Твой брат? — спросил Сталин.

— Мой, — ответил Покрасс с трудом переборов охвативший его страх.

— Боишься? Не бойся. Хорошая музыка, — успокоил его Сталин».

Существует и другая, более злоязычная версия этой истории. Ее упоминает в «Записных книжках» Сергей Довлатов. «И вот однажды — кремлевский прием. И Сталин обратился к Дмитрию Покрассу:

— Правда, что ваш брат за границей?

Покрасс испугался, но честно ответил:

— Правда.

— Это он сочинил песенки к "Трем мушкетерам"?

— Он.

— Значит, это его песня — "Вар-вар-вар-вар-вари..."?

— Его.

Сталин подумал и говорит:

— Лучшие бы он жил здесь. А вы — там!».

Валя Бондарева добилаь и того, что со мной заключили договор на написание сценария фильма о Дмитрие Покрассе. Я придумал название: «Композитор Первой конной». Но забылся и писал так, будто это для нашей студии: с поездками вслед за оркестром, со съемками репетиций и концертов. Где ж любительской студии было потянуть это. Сценарий приняли, но фильм делать не решились. И заплатили мне сто рублей — половину положенного гонорара. Мизер, но все-таки столько, сколько я получал на студии в месяц. К тому же этот сценарий сыграл свою роль в моей вгиковской судьбе.

ВГИК — это мой третий ручей. Он тек себе и тек. С лекциями, семинарами и просмотрами. С экзаменами по ИЗО, после которого мы устраивали пикники на берегу Яузы. И с нами с удовольствием «отмечала» Паола Волкова — тогда еще не доктор искусствоведения, не легендарный автор книги «Мосты над бездной», а просто милая, понимающая нас женщина. Меня несколько шокировала фамильярность моих однокурсников в общении с ней, потому что я уже тогда понимал, насколько она цельнее и выше каждого из нас, И что учеба у нее — это редкая выпавшая на мою долю удача.

Незаметно подошло время диплома. Сдуру я заявил тему: «Хозрасчет на промышленном предприятии». Как такая глупость пришла мне в голову? Что с того, что я экономист по образованию! Что с того, что эту тему мне навязали на кафедре политэкономии! Что с того, что ее поддерживал Саша Буримский, ставший к тому времени заместителем директора студии! Я же знал о хозрасчете столько же, сколько о квадратуре круга. И интерес у меня к нему был такой же, как к китайской грамоте. Напрасно я ездил на автозавод, где делали «Москвичи». Напрасно я торчал у главного конвейера. Напрасно околачивался в цехе, где собранные машины доводили «до ума». дождался только того, что рабочие, узнав, что я «из кино», стали затаскивать меня в смотровые ямы и жаловаться на сотни недоделок, с которыми автомобили «вытаскивали» с конвейера. Что это могло дать для будущего сценария? Ни драматургии, ни изобразительного ряда я не видел.

К тому же голова моя была занята совсем другим. Пришла пора думать о перемене специальности. Иначе, зачем я учился?

Я хотел писать сценарии. Но понимал, что на одни гонорары за сюжеты к «Хочу все знать» не проживешь. А большие сценарии... У меня уже был горький опыт. Я предложил Нине Марковне тему об истории токарного станка — «Самая главная машина». Могло получиться и познавательно, и забавно. Тему включили в план будущего года. Я стал собирать материалы, делать первые наброски. Родилась идея производственного мюзикла — путешествие по истории с песнями и танцами. Вроде «Оливера Твиста». Я даже будущего режиссера присмотрел. Ассистент Саша Миронов заканчивал ВГИК. Он был учеником Бориса Генриховича и собирался делать диплом в нашем объединении. А почему бы ему не попробовать себя на «Самой главной машине»? Я осторожно выкладывал Саше пришедшие мне в голову идеи. Я тогда вообще хватал за пуговицы каждого встречного и обрушивал на его голову все, что рождалось в мозгу, разбуженном ВГИКом.

Саша вежливо выслушивал меня, делал заинтересованное лицо. Наверное, он бы взялся за мой сценарий. Но тут Нина Марковна объявила, что в следующем году фильм о токарном станке делаться не будет. План сократили. Ну как после этого можно рассчитывать на сценарную работу. Писать сценарии хорошо, получая твердую зарплату за что-то еще.

Должность редактора в каком-либо объединении мне не светила. Да я как-то и не рвался к этой должности. У меня забрезжила другая идея.

На студии было то, что называлось Информационным отделом. При нем библиотека. Или наоборот. Одно время редактором-информатором был Володя Матлин. В его

обязанности входила информация общественности о продукции студии, выпуск печатных материалов — в общем, все, что теперь называется модным термином «*паблик рилейшнз*». С улыбчивым и скромным Володей я был знаком шапочно — один раз помогал ему выгружать из машины книги. Заметной фигурой он стал, после того, как по его сценариям снял свои лучшие фильмы Слава Цукерман («Жар холодных чисел», «Ночь на размышление» и др.). А уж совсем потом сквозь треск и грохот «глушилок» голос *Владимира Мартина* доносил до нас крупинцы неизвестной нам правды. Больше двадцати лет он был русским «Голосом Америки».

Так вот. Володя ушел в сценаристы. У меня появилась мысль не просто занять его место, а совершенно изменить функции информационного отдела. Заставить его работать не только на выход, но и на вход информации. Я же видел, сколько времени и сил уходит у съемочных групп на поиски материала. Какого труда стоит ассистентам перелопачивать груды книг, чтобы найти нужный документ или гравюру. А выбор актуальных тем? А научная консультация? Все это можно было бы переложить на нескольких редакторов информационного отдела. Они работали бы по заявкам групп. Но они не только выполняли бы сиюминутные заказы. Можно было наладить связь с научными институтами и, как говорится «держатъ руку на пульсе»: своевременно узнавать о всем важном и интересном, что происходит в науке. И уж тогда заказывать сценарии.

Все это я изложил в «меморандуме», который направил Михвасу. Одновременно я пропагандировал свою идею узким кругам «широкой общественности». И у некоторых режиссеров она находила отклик. Нашлись даже такие (из пенсионеров), которые уже видели себя в качестве начальника предполагаемого отдела. А я и не замахивался на эту должность. Меня вполне устроила бы работа в «среднем звене». Мне это было бы интересно. И позволяло бы писать сценарии.

Я никогда не ожидал от себя никакой пробивной силы. Но жизнь заставила. И мое нахальство довело меня до режиссерской секции. Она слушала меня во главе с самим Згуриди. Правда, Александра Михайловича больше интересовала рекламная сторона будущей деятельности. Буклеты, альбомы, премьеры и выставки. Короче, «гром оркестров». Но и против работы «на вход» он не возражал. В общем, режиссеры мою идею поддержали.

В таких хлопотах прошел 1968-й год. В мае я простился с моей группой — ушел в очередной отпуск, а потом — на диплом. Валентину Яковлевну я оставил в томительном ожидании: разрешение на въезд мужа было готово, теперь предстояло отправить его по инстанциям. Она уже подыскивала бывшему мужу жилье.

— Ночи не спит, — говорила Галя. — Волнуется, как молоденькая!..

Сама Галя доверительно делилась со мной: как удобно завтракать в ресторанах, намекая на то, что пустилась «во все тяжкие». Но особого счастья в ее облике я не видел.

События налетали одно на другое. Маленькие затенялись большими. Радостные были редкими крупинками на дне горечи. В марте погиб Юрий Гагарин. В апреле убили Мартина Лютера Кинга («Свободен, господи! Наконец-то, свободен!»). В июне — Роберта Кеннеди. В августе советские войска вошли в Прагу.

Мы с братом были в Гурзуфе. Десять чудесных дней. «Они все-таки ввели туда танки!» — разбудил меня утром брат. Я хорошо помню ощущение черноты, которая обступила меня этим солнечным днем. «Они все-таки...». А в Париже бунтовали студенты. Против всего на свете. Другое дело — за что? Им что — «социализма с человеческим лицом захотелось?

И большому миру не было дела до драмы маленького человека, чьи чувства раздирали душу пополам.

Принц понимал, что заехал в тупик. Он, как паровоз, пыхал паром на краю путей. И подать назад нельзя, и вперед дороги нет. Добила его маленькая Принцесска. Он гулял с ней в лесу рядом с замком старого Короля. «Ты же знаешь, как я люблю тебя! — ударял себя в грудь Принц. — А что же ты тогда...» — сказала маленькая Принцесска. И не договорила. И в те же дни случилось странное дело. Принц с возлюбленной фрейлиной были в концерте. И была с ними другая фрейлина — высокая и костистая. И вот Принц заметил, что весь вечер разговаривает с этой неказистой. Интересно разговаривает. А с миловидной фрейлиной разговоров не получается. Видать, уже все сказали. И милая вдруг стала мниться серой мышкой. И ночь потеряла розовый цвет. Возлюбленная фрейлина усекла это. Она была дама умная, хоть и со склонностями. «Ах, кавалеров мне вполне хватает. Но нет любви хорошей у меня!» — пропела она Принцу. И отправила его домой. Соблюла достоинство. Только обратная станция паровоз не принимала. Вот он и пыхтел в тупике...

В раздвоенных чувствах провел я вторую половину года. О дипломной работе даже не задумывался. «Авось пронесет!». На студии почти не появлялся. А когда появлялся... Лучше бы не приходил! Валентины Яковлевны и Гали не было. А Нина Марковна сообщила мне, что муж-англичанин покончил с собой. Не выдержал. И, главное, ведь разрешение уже было в посольстве. Они просто не успели сообщить ему. Валентина Яковлевна казнит себя: если бы она поторопила кого надо!..

Что я мог сказать? Или сделать? Мне самому надо было искать сочувствия. А у кого? Многие меня осуждали: одни — за то, другие — за это. Юра Данилов, который

знал Таню, вдруг встал в красивую позу: «Гулять — гуляй, но семья — дело святое!». Даже Берта Михайловна смотрела косо.

Одно держало меня на плаву — близость Нового года. А с ним — и новой работы. Говорили, что Михвас уже подписал устав Информационного отдела.

Новый года я встречал у родителей. И всю ночь простоял у окна — не идут ли Тania с Леной?

Мой дипломный отпуск кончился. Я пришел на студию, и первое, чем меня огорошили, было: Михвас передумал. Информационного отдела не будет. Это было крушение мира. Я словно плыл в невесомости и не знал, куда прибиться. Уходить со студии? Куда? Работать и дальше директором картины? Категорически не хочу!

Я набрался смелости и пробился на прием к Михаилу Васильевичу. Директор ничего объяснять не стал. Просто сказал: «Не время!». А когда я спросил: что же мне делать? — «Идите в ассистенты!» — предложил он. И почему-то добавил: «Научитесь писать монтажные листы!». Как будто я и так этого не умел.

Человек задним умом крепок. Я потом измучил себя: ну, почему же я не попросил разрешения самому снять сюжет для какого-нибудь киножурнала? Ума не хватило.

В семью меня пока не принимали. Но до лыжных прогулок допустили. Я повел Таню в Рублево, а оттуда через Москву-реку в Архангельское. День был ветреный, и нелегкая дернула меня идти обратно по льду реки. Уж очень не любил я возвращаться той же дорогой. Река петляла, нас здорово продуло. И на следующий день у Тани на плече вылез здоровенный желвак. Я повез ее в больницу, и по пути заглушал свое чувство вины брюзжанием на нее. Так уж я устроен: в трудные минуты мне нужен козел отпущения. В крайнем случае, коза.

В больнице работал Танин брат. Он отнесся к желваку очень серьезно: Это же лимфатический узел. Собрался консилиум, решили оставить в клинике и понаблюдать. Я забрал Лену к родителям, и стал каждый день дежурить в палате. У Тани поднималась температура, доходила до сорока. Она ослабла, вставала с трудом, приходилось кормить ее с ложки. Один день меня подменила Галя. Они с Валентиной Яковлевной собирались в экспедицию — в Среднюю Азию. Теперь у них был другой директор.

Я же говорил: беда не ходит одна. В январе мне позвонила Инна Рабкина: на март назначена защита дипломов. Никаких отсрочек не будет. Снова защититься разрешат только через год. Я заметался. Идея с хозрасчетом была давно и без слез похоронена. А ничего другого я сделать не успевал.

Впрочем... От безнадёги мне в голову пришла спасительная идея: собрать под одной обложкой несколько написанных раньше работ. Я просмотрел все, что у меня

было, и выбрал три сценария: «Композитор Первой конной», «Алмаз-богатырь» и «Природа вокруг нас». У них было одно достоинство — они были приняты. Сюжет об алмазах вошел в киножурнал «Хочу все знать», а очерк о природе прошел по телевидению в программе «Природоведение». Это были уже профессиональные работы.

В общем, я успел. Но сама защита не обошлась без каверз. Сначала все шло хорошо, пока кто-то из оппонентов с ехидцей не спросил: «А почему это у вас, уважаемый, в текстах песен из замечательного фильма «Трактористы» произвольно изменены слова?». Пришлось объяснять комиссии, что после смерти Сталина тексты песен братьев Покрасс были пропущены через сито хрущевской цензуры. Его имя, где можно, было выброшено, а где можно, заменено. Так, вместо строчек:

*«Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет»*

в новой версии пели:

*«Когда суровый час войны настанет,
И нас в атаку родина пошлет».*

А совсем безобидные:

*«И летели навзничь самураи
Под напором стали и огня»*

из соображений политкорректности заменили на:

«И летела навзничь вражья стая...»

— Позвольте! — имел мужество возразить я. — Я дословно привожу цитаты из фильма, который сегодня прокатывается по нашим экранам. Другого фильма зритель не видит, и других песен не слышит...

На мое счастье, кто-то из комиссии поддержал меня. И свою «пятерку» я получил.

А потом директор ВГИКа вручил нам дипломы. Мне — красные корочки: «с отличием». В графе «специальность» было записано «кинодраматург», в графе «профессия» — «литературный работник кино и телевидения». Пока что я не был ни тем, ни другим.

Тане сделали операцию. Как мне потом объяснили, узел, пронизанный сосудами, лучше было не трогать. Так что они все зашили и... выписали ее домой. Авось, само заживет.

Семья воссоединилась, Таня как будто выздоровела. Только это было серьезным предупреждением.

А я стал работать ассистентом режиссера. В моей студийной жизни начался новый этап.

Мне близка идея о развилках времени — о том, что есть «перекрестки», на которых мы меняем дорогу. Сколько раз мы сходим с тропы... ломаем судьбу...

И становимся тем, что мы есть сейчас.

А те, кем мы не стали, уходят в иные временные тоннели.

И может быть, там за стеной, я — другой — люблю так, как не умел любить здесь...

Говорю то хорошее, что сказать стеснялся... И делаю прекрасные глупости...

Наше Сегодня — это один из вариантов того, что мы выбрали Вчера.